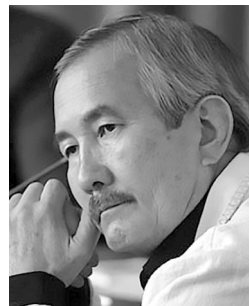


Смагыл Елубай



ОДИНОКАЯ ЮРТА

Роман

В ПЕСКАХ

1

Луна льет молочно-белый свет. Глухая ночная пора. В песках Айту укрылся среди барханов небольшой аул, его-то и ласкает ночное светило. На все эти удивительные лунные просторы взирал с песчаного гребня одинокий в ночи человек. Он стоял, возвышаясь на холме, как страж аула, скованного сном, как страж бескрайнего мира, погруженного в дрему. Этот человек, набросивший на широкие плечи шелковый чапан, – Пахраддин.

«На земле каракалпаков все еще живут свободно» – слышали казахи-кочевники. Мечтая вновь обрести волю на земле близкого народа, они перебрались сюда, однако вскоре и здесь столкнулись с настойчивыми призывами вступить в колхозы.

Нашедшие укрытие в песках Айту степняки, а их тут около пятидесяти семей, встревожились: что же теперь делать? А весной из Конырата нагрянула группа активистов, один представился агентом по заготовке, второй – членом аулсовета, третий – «милиса». Снова забрали «излишки» скота. Пока аксакалы аула ломали голову над поисками выхода, примчался на белом верблюде Лабак-ахун, объехавший в поисках земли для аула всё побережье Амударьи. Не встретив подходящей для скотоводов земли на берегах великой реки, в Хорезме, он в конце концов оказался в туркменских аулах, бежавших от русской революции к самой афганской границе. Жили они по старинке, пасли скот, собирали в пустыне топливо, видать, ничем не были стеснены.

Когда старец рассказал про них – а говорил он, как всегда, красиво, словно старое сказание пересказывал, – у всех, кто его слушал, слюнки потекли.

Пахраддин – умный, образованный человек, бий в прошлом, настоящий предводитель, у него открытые глаза, чуткое сердце, к нему обратили взоры люди – что скажет? Но и Пахраддин ничего не мог сказать, он сам слушал народ. Последние годы он занимался родословной кочевников, собирал и обрабатывал свои записи, ушел в них полностью. В это время из оставшегося далеко позади Оймаута завязались Хансулу с тестем – Шарипом. Оказывается, они добирались сюда пол-

Окончание. Начало в №6, 2023.



месяца. Хансулу исхудала, была обветрена, смугла. О том, что Шеге арестован, Пахраддин слышал через степной узункулак ¹, а вот о том, что у него появился внук, не знал. Не ведал ничего и о том, что Шеге на два года посадили в тюрьму. Но самой тяжелой новостью для него стало положение его дочери. Обласканная солнцем и ветром Хансулу, его дочь, которую он растил как сына, в гордости и любви к себе, сильно изменилась, будто сломила, укротила ее жизнь. Бедное дитя!

После долгих споров и толков люди обратились к Пахраддину, оторвав его от записей. Бульш и другие джигиты настояли:

– Пусть би-ага теперь выскажется!

– Послушаем би-ага!

Бульш с Балкией пришли в этот сборный, потаенный аул в конце зимы. Здесь Бульш и встретился с матерью – Дау-апой.

Пахраддин, поглаживая усы, обдумывал ответ.

– Что ж, – сказал он, обозревая собравшихся на холме мужчин, – чтобы путь наш был благополучен, принесем на рассвете в жертву бело-рыжую овцу!

– Ауминь! – благословил решение белобородый Лабак-ахун и провел ладонями по щекам.

– Ауминь! – гулко отозвалось по рядам. Люди так же прочертили ладонями лица.

Многодневные собрания наконец-то завершились соглашением, устраивавшим всех, – наутро аул трогается с места. С тем люди и разбрелись по домам, спустившись с вершины холма.

Один Пахраддин задержался на холме. Его бы воля, шагу бы не ступил он из родного края. Азберген Ираном соблазнял, Ермагамбет – Турцией, но Пахраддин не двинулся с места, а теперь сам в Афганистан бежать надумал. Вот она, жизнь! Жестокий удел! Судьба-плутовка!

2

Лунный свет вливался в проем широко распахнутой скрипучей двери, сдвинутой занавес колыхался от ветерка. Не до сна двоим, покоящимся на общем ложе деревянной кровати. Пахраддин и Сырга не спали и в эту ночь.

– Уж если на дочь замахнулась власть, считай, и нас не оставят в покое, – говорил Пахраддин. – Должны и нам петлю на шею накинуть.

– Пропади всё пропадом... Откочем, всё же лучше, чем тюрьма. Разве что народ чужой, – поддержала мужа Сырга.

Расплакался ребенок. Хансулу проснулась. Склонилась над колыбелью, стала кормить сына.

– Сулужан! – подала голос Сырга, отгибая угол занавеса.

– Ау, апа!

– Ты слышала, откочевываем мы.

– В Афганистан? – вырвалось у Хансулу. – А я? Как мне быть?

В ее голосе отчаяние. Отчего-то стало душно, точно пожар охватил дом.

– Успокойся, доченька! – откликнулась Сырга дрожащим от волнения голосом, соскользнула с постели.

Хансулу успела расплакаться, прислонившись головой к колыбели. Вскоре к ней присоединился и малыш: «Нга-нга-нга...». Тишины в юрте как не бывало.

¹ Изустная молва, слухи.

– О Создатель, – с тоской сказал Пахраддин, выходя из юрты.

Луна перекатилась на западную часть неба, свет ее заметно потускнел. На востоке забрезжило, чувствовалось приближение рассвета. Смутно чернели фигуры нескольких стариков, которые с кумганами в руках вышли на утреннюю молитву. На ближнем к аулу холме кто-то стоял. Лабак-ахун! В белой чалме. Молится, видимо, глядя на рассвет.

Послышался голос Сырги:

– Ну, что теперь прикажешь делать? Что-о?.. – В ее голосе боль бессилия.

Пахраддин не выдержал. Подошел поближе, прокашлялся, прочищая горло.

– Эй! – это относилось к жене. – Что это за слова: «Что прикажешь делать?»

Сказала бы лучше: откочуем подальше, чтобы спокойно выждать, чем тут все закончится. Не думай, что Афганистан – самое плохое место на земле. Даст бог, придет в себя наш народ – и мы вернемся. По крайней мере сделаем все, чтобы вернуть тебя на родину. Так надо говорить, байбише!

Кто не прислушается к вескому слову отца? Женщины в доме, кажется, успокоились, притихли. Звонкий напевный голос Лабак-ахуна вознесся в высоту:

– Аш-шадан, ла, иллахул, ил-алла!.. Аш-шадан, ла-ил-лахул, ил-ал-ла-ау!..

Протяжный напев далеко разносится в чистом прозрачном воздухе. Когда из-за горизонта выкатилось солнце, кочевье, позванивая колокольцами, выползло из сая. Держа солнце по левую сторону пути, оно двинулось на юг. Впереди рысили мужчины, возглавляемые Лабак-ахуном и Пахраддином.

Навьюченные верблюды-нары шли привычным плавно-размеренным шагом. В кошевках на них покачивались старухи в белых жаулыках. К концу первого дня пути люди заночевали в ложине, густо заросшей тысячелистником, верблюжьей колючкой и хмелем. Разгрузили верблюдов, тюки в беспорядке бросили рядом; изрядно утомленные, после легкого ужина заснули кто где. Верблюды лежали в отдалении от спящего аула, с хрустом пережевывали свою жвачку. В логу, с северной стороны лагеря, там, где ковыль и ран, пофыркивали спутанные лошади. От долгого пути и собаки приустиали, развалились на сыпучем песке.

Бодрствовал один Булыш. Он молча созерцал спящий аул. Два года они с Балкией бродили по пустыне. Кочуя вдвоем по безлюдным диким краям, каких только невзгод не натерпелись они? Пережили и голод, и холод, и жару, и лишения. Затем, памятуя поговорку: «Чем идти по большаку в одиночку, лучше плутать вместе с людьми», пустились они искать аул в песках Айту, где, как они слышали, собирались беженцы отовсюду.

Вроде бы обрели они мудрого советника в лице Пахраддина, старую мать, восстановили прежнее единство. Он подумал, что, какое бы испытание ни послала ему теперь судьба, лучше встретить его вместе с таким азаматом, как Пахраддин, таким мудрым старцем, как Лабак-ахун, рядом с матерью. Ему было по душе решение старейшин откочевать в Афганистан в поисках свободной жизни и земли для проживания по старинке.

В этих думах и задремал он после полуночи. Лай собак вскоре разбудил его. Вскочил, как и лежал, – в одежде. Выхватил из-под изголовья пятазарядку. Густой предутренний мрак. Мало что в нем различишь. К лаю собак прибавились полные ужаса женские вопли:

– Ойбай, беда!

– Ойбай, напали!

Трое чужих в ночной тиши угоняли их верблюдов, тех, что лежали на привязи поодаль.

– По коням! – прокричал Пахраддин.

И тут с барханов, у подножий которых лаяли собаки, бабахнули выстрелы.

– Ойбай! – взвизгнули женщины, толпой кинулись обратно в сай-овраг.

– Ойбай! Ойба-ай!..

– К оврагу! В овраг! – коротко распорядился Пахраддин.

– Буллы-ыш! – над общим шумом взвился пронзительный вопль Балкии.

Недосуг было Булышу оглядываться. Простоволосый, в легком чекпене, нырнул в темень, повалился под корявый куст и начал стрелять. Одного из тройки в высоких бориках, угонявшей табун верблюдов, снял с лошади. Шум, крики, неразбериха... Среди убежавших в овраг женщин были видны и мужчины, завернувшиеся в одеяло. Стреляли из-за ковыльного бугра напротив: тарс-тарс, тарс-тарс... Прибежал запыхавшийся Пахраддин.

– Булыш, назад! К оврагу! – прокричал он. – Все там. Мы с тобой одни остались!

– Лошади где, Би-ага? К лошадям бегите! Лошади нужны! – Булыш целился во второго угонщика. Грохнул выстрел. Пахраддин, устремившийся к оврагу, обернулся и увидел, что и второй конник упал на конскую гриву.

– О, Алла! – произнес он, спускаясь в овраг. – О, Создатель!

На пути, как живой дух, возник Лабак-ахун. Громко, во весь голос он взывал к духам предков:

– О, Барак! О, Барак!

Белый чапан на плечах, белая чалма на голове, белый посох в руке, заклинания на устах. Старец – как белый флаг посреди пуль. Трусоватые мужчины, скатившиеся в овраг, возвращались назад. Залегли, открыли огонь по врагам, кисло запахло порохом. Мир с ног опять встал на голову. Скулили собаки, бляели овцы, козы.

– В овраг! В овраг! – надрываясь, кричал Пахраддин, приближаясь к старцу.

Тот лишь коротко взмахнул посохом. Это, видать, значило – не останавливайся! Когда Пахраддин, с трудом управляя своим тучным телом, скатился в овраг и освоился в темноте, первым, кого он там увидел, был Кикымбай, продиравшийся к нему сквозь людскую толчею.

– Лошадей нет! Ойбай, нет лошадей! – орал он. – Би-ага, увели лошадей-то, ойбай!

– Вот напасть! Вот напасть! За что, господи?! – застонал Пахраддин, обычно каменно невозмутимый. На этот раз выдержка изменила и ему.

Что делать? Растерянный Пахраддин затоптался на месте. И ружья-то у него нет. Да и если бы и было, какой из Пахраддина стрелок?..

Вспомнив о Булыше, он бросился назад – один он там, бедняга. Мысль, что могут убить и его самого, не приходила в голову.

...Буллыш не видел верзилу, пробравшегося к нему с тыла под прикрытием кустарников, он еще в кого-то целился с колена. Пуля просвистела над самым его ухом, и – тут же! – он ощутил страшный удар в правое плечо. Отлетела берданка. Булыш бросился за ней, пригнулся и увидел рядом Азбергена.

– У-ух, отца твоего в... – прорычал тот, замахаясь прикладом.

Буллыш успел отклонить голову – тяжелый удар прикладом пришелся по левому плечу. Булыш отпрянул назад. Откуда ни возьмись мажановский Мотан перед ним

вырос. Сверкнул клинок. Булыш увернулся, да поздно: сабля ударила по затылку. Перед глазами полыхнул странный огонь. Мир разом рухнул в бездонную пучину.

Пахраддин, увидев, как столпились вокруг лежащего Булыша враги, вскочил. Он понял: Булыш попался. Пахраддин присел за кустом – жить-то хотелось.

И тут воздух вспорол потрясающий душу женский голос:

– Булыш! Булыш!

Пахраддин оглянулся и увидел, как из оврага, разрывая синий пороховой дым летит Балкия. Босая, расхристанная, в руке платок, волосы стелются по ветру, несетса она.

– Ушел враг! Побежа-ал! – раскричались выскочившие из оврага мужчины с винтовками.

Предутренняя мгла рассеялась, восток посветлел, стала просматриваться песчаная степь. Человек тридцать конников, петляя среди дюн, наметом уходили от них; за увалом они и скрылись – пулей не достанешь. Балкия птицей пролетела мимо Пахраддина.

– Булыш! Ойбай, Булыш!.. – донеслись ее рыдания.

Пахраддин поднялся, испытывая дрожь в суставах, неловко затрусил за Балкией, приговаривая:

– Несчастные мы! Ой, беда!..

Добежав до Булыша, Балкия пронзительно вскрикнула:

– Ойбай! Ойба-ай!..

Закрылись глаза Пахраддина, из них брызнули слезы. Задрожали, подкосились ноги. Попробуй добеги быстро!

– О-о, Булыш! О-ой, мой Булыш! – навзрыд повторял он.

Утро содрогнулось от отчаянных «ойбай» Балкии. Из оврага бежала и Дау-апа. И она голосила.

К месту, где лежал ничком, обняв землю, Булыш, подоспел и задохнувшийся от бега Пахраддин. Первое, что он увидел: вокруг джигита расплылась обильная лужа крови. Балкия лежала, обняв Булыша, конвульсивно содрогаясь от рыданий. Пахраддин с усилием приподнял ее, оттолкнул в сторону и взгляделся в раны поверженного: пробит затылок, срублено левое плечо, правая лопатка разнесена пулей, но на хмуром лице батыра застыла неустрашимость.

– О-о, свет очей моих... О, моя опора! Мой батыр!.. – вновь зарыдал Пахраддин.

Проливая слезы, перевернул Булыша на спину, накрыл чапаном. Только теперь заметил он, что нет правой руки Булыша: или она была срублена вместе с плечом, или он так сильно вцепился в винтовку, что проклятые отсекли руку, чтобы забрать оружие.

Добралась до сына и Дау-апа, выла-причитала надрывно. И другие женщины шумели. Весь аул собрался у трупа.

Балкия неожиданно для аулчан кинулась куда-то в расветную синь, залитую солнцем. Рыдала тонко, пронзительно, как жеребенок, которого ненароком ранили. Опротетью бежала женщина – босоногая, простоволосая...

– Жеребеночек ты мо-ой! Ой-бо-ой! Зачем мне теперь жить? – причитала низким голосом Дау-апа.

Хансулу ни жива ни мертва. Бледная, дрожащая, с ужасом озирает она разгромленное кочевье. Было оно – и нет его. Шумели-галдели люди. По становищу, еще ночью служившему ночлегом, беспорядочно метались ягнята.

козлята, овцы, козы – вся оставшаяся живность ограбленного аула. Скулили растревоженные псы. Верблюдов-наров, грозы и красы аула, нет. И лошади исчезли. Обеднел аул, нищета заглядывала людям в глаза.

Бандиты потеряли двоих. Одним из лежавших на земле оказался Капан, сын Мажана, пуля сразила его у подножия бархана; второй – молодой туркмен в папахе.

Булыша погребли на следующий день после обеда на холме, заросшем столетником. Его гибель потрясла весь аул, опечалила и молодых, и старых. Не было человека, не пролившего по нему слез.

Бедняжка Балкия то и дело теряла сознание. Дау-апа, подперев бока руками, раскачивалась из стороны в сторону и – голосила-голосила; в один день поседела, и как былинка согнулась мать, чье мужество было всем известно.

Жестоко разгромленный аул, потеряв скот, был вынужден изменить планы на будущее. Пока одни рыли могилу для Булыша, другие стали копать колодец на дне оврага. И ребенку было ясно, что откочевка в дальний Афганистан пока откладывается. Походный порядок жизни степняков диктовал: «Мертвому – могилу, живому – жизнь». Совет старейшин решил: после похорон Булыша нужно ставить юрты. Аул на время должен был обосноваться здесь. Пошли на убыль плач и стенания. Люди разбирали и открывали тюки, поднимали кереге, вязали уйки и шаныраки юрт.

Одна Балкия так и не приходила в себя. Лежала под пышной кроной карликовой акации и звала в бреду:

– Булыш! Булыш!

Хансулу поддерживала ей голову, поила водой.

Дау-апа, почерневшая от горя, тоже взялась за плохонькую маленькую свою юрту. Соседи и родичи помогли старой матери – подняли шанырак, связали уйки.

К вечеру в тени белой юрты Пахраддина расстелили большой войлочный текемет, и аульные аксакалы устроили совет. Единодушно решили, что пережитое ими бандитское нападение не иначе как божий знак: не хочет Всевышний народ на ту сторону отпускать. Но как жить дальше, что делать? – всё уперлось в этот вопрос. Некоторые предлагали сложить оставшиеся на руках деньги, золото, серебро и, обменяв их на базаре на скот, мало-помалу продолжить путь в Афганистан, на что большинство сердито возразило, как, дескать, без штанов в страну обетованную подаваться, ведь там, на стороне, и отношение к ним, к голодранцам, будет наплевательское.

Лабак-ахун сидел с закрытыми глазами и что-то тихо бормотал, перебирая четки, вид у него был отрешенный.

С восходом луны совет закончился. Пять человек с Пахрадином на следующий же день отправились в туркменский город Коне-Ургенч, который был ближе к аулу, чем Конырат. Нужно было найти временную гужевою подработку, чтобы не входить в колхоз, артель.

Таяли и возникали миражи, над красно-белыми солончаками пробегали смерчи. Раз в неделю груженные саксаулом верблюды аула вереницами двигались к горизонту, чтобы утонуть в мареве. Раз в неделю караван выплывал из этого марева, чтобы подобно журавлиному клину плыть по желтому простору обратно к аулу. Новости из далекого большого мира приходили с этим караваном.

Аульные старики во главе с Лабак-ахуном замирали на окраине, наблюдая за медленно приближающимся караваном. Хансулу с ребенком в руках стояла возле юрты.

Путники восседали на верблюдах, дорога была трудна, и вид был у них усталый, изможденный. На буром с красноватым оттенком наре ехал Пахраддин.

– Ойбай, гляньте-ка, а там кто на последнем верблюде? Не Верещага ли? – воскликнул кто-то из женщин.

– Ревун-то под ним?

– О Создатель! Неужто это Шарип едет?

Хансулу не поверила своим глазам. Последним, замыкая вереницу «горожан», и в самом деле на своем ревуне ехал ее свекор – маленький, сухонький Шарип, чем-то похожий на сову. Почти не видать его из-за верблюжьего горба.

Караванчиков, осаживающих верблюдов, тесным кольцом окружили женщины, дети, старики. Лабак-ахун привел Шарипа в дом Дау-апы. Та долго причитала. Старики пропели из Корана, провели традиционно ладонями по лицам. Балкии дома не было. Женщины пояснили – взяла мешок и пошла за кизяком. Хансулу вышла наружу, поставила самовар; кидая в его топку щепки, прислушивалась к разговорам в юрте, а старики знай о житье-бытье толкуют, каждый о своем Шарипа спрашивает.

Наконец донесся голос Сырги – матери:

– Что, сват, от Шеге есть вести?

Хансулу подбежала и приникла к юрте. А свекор и сам позвал:

– Келин, ау, келин, ты где?

Хансулу, стесняясь, протиснулась бочком в набитую стариками юрту. Свекор на почетном месте, подобрав под себя ноги, жадно принохивается к макушке сидящего на коленях его Тугелхана, видать, соскучился.

– Присаживайся, милая. Как ты тут?

Дрогнул голос Шарипа, не смог он скрыть волнения, вытащил из кармана платок и вытер глаза.

– Жив-здоров Шеге... Письмо вот пришло. Город Орск, вот он где, Шеге...

И протянул Хансулу замызганный смятый конверт. Дальше говорить не смог, всхлипнул, и слезы закапали на голову внуку. Глядя на него, и Хансулу расчувствовалась.

За чаем неугомонный Кикымбай спросил у Шарипа:

– А как там ваш каллектеп поживает, гудулдугутпан?

«Гудулдугутпан» – любимое присловье Кикымбая, смысла которого не знает и он сам. Разомлевший от чая, потный Шарип резко вскинул голову. Знает, что чесотка на языке у проклятого курносого Кикымбая. Он оглядел сидящих в юрте людей, которые выжидательно смотрели на него. Задира Кикымбай задал каверзный вопрос, словно на большую мозоль наступил. Шарип вытер платком лоб, нахмурил брови.

– Что спрашиваешь? Доконал каллектеп! Проклятый Жорга допек нас.

– Доконал? Как это? Нету, что ли, теперь Жанажола? Распустили, что ли?

– Да лучше бы распустили, ведь каллектеп почти дух испустил... Скот государство отобрало. Уполномоченные запугали своими криками: «Чтоб голого копыта не осталось! Кто против политики Голощекина – того вон!» Курен каждый день новые налоги придумывает. Скотину забрал, потом за

шкурку взялся, за шерсть, а на днях копыта велел сдавать, вот так. Дашь – вроде ничего. Не дашь – нет никого хуже тебя. И враг ты, и контра ты. Чуть что, в тюрьму грозитя упечь. Шестнадцать дворов осталось от Жанажола. Бегут люди из каллектепа.

– Ойбо-ой!

– Спаси, Аллах!

– Для вас слухи, для меня – горькая жизнь. Хотите верьте, хотите – нет, – продолжил Шарип. – Крикуна моего видали? Ну вот, один остался у меня из всей скотины. Как его приберут, считай, семье моей крышка.

– Ау, Шаке, – оживился Кикымбай, почесывая голый, как колено, подбородок. – Что тогда выходит, гудулдугутпан, такова политика государства или своеволие таких перегибщиков, как Жорга?

– Откуда мне знать... Ведь установленя закон: верхи говорят – стриги волосы, а низы отхватывают вместе с головой. Получается – всё равно мы ограблены, – Шарип опять вытер глаза.

– Э-э-э...

Люди погрустнели. Измотанный дальней дорогой и жаждой, Шарип налег на чай. Установилась зыбкая тишина. Лишь посуда позвякивала.

– Э, Шаке, рассказали о близком нам, гудулдугутпан. А я вот ждал, что вы сообщите о чем-нибудь важном таком, государственном...

Не понял Шарип Кикымбая, опять выкатил глаза. Кикымбай поднял голос, подался вперед и с жаром принялся излагать байку:

– Я вам, Шаке, вот какую забавную историю расскажу. Послушайте. Говорят, Голощекин к Сталину ездил, жаловался, гудулдугутпан: не могу, говорит, строптивый кочевой народ в каллектеп загнать, по степи, говорит, кто куда разбежался... Сталин приказал принести курицу, потом пустил ее бегать по комнате и сказал: «Лови!» Голощекин носился туда и сюда, не смог поймать курицу. Было холодно. Сталин хватъ курицу, быстро общипал ее и снова пустил ее бегать. И озябшая птица сама прибежала в руки Голощекина. «Понял, как надо поймать казаха?» – сказал Сталин. «Понял» – так, говорят, ответил Голощекин.

– Шустряк наш Кикымбай, знает он, как издалека к теме подойти! – зашумели старики.

– В священной книге сказано, что когда приблизится Срок последний, не останется и последнего копыта для приплода, – неожиданно вставил слово Лабак-ахун. Народ тотчас угомонился и уставился на старца. – Всё живое – и птица летающая, и зверь рыкающий, и рыба плавающая, – всё обратится в тлен и прах забвенный. Видит бог, сказано: сын мусульманина, клок шерсти на суку заведя, возжелает взять его и, сжегши, запахом дыма наслаждаться станет, вспоминая дни, когда погонял он бесчисленный скот.

Лабак-ахун, изрядно напугав людей, стал описывать подробности Страшного Суда для сынов и дочерей Адама столь красочно, будто сам был очевидцем Конца Света.

Дау-апа подала к дастархану мясо. Сотрапезники запили его верблюжьим шубатом и к ночи, когда показались звезды, разошлись.

– Сват! Есть ли вести о Шойынкаре? – степенным голосом осторожно спросил Пахраддин, когда остались наедине с Шарипом.

– Разве ты не слышал? Как только попал Шойынкара в каллектип, так сразу пошел по рукам, кто только не ездил на нем. В конце концов доконал его этот лис – Ждакай.

– Как это? – спросил Пахраддин сильным голосом, в горле у него тотчас пересохло.

– Да так... Зимой, под предлогом, дескать, скотникам нужно топливо, решил выкорчевать священный саксаул, что рос у мазара Барак-ата. Привязал аркан к дереву, заставил Шойынкару тянуть... Вот и подох нар от этого...

Пахраддин безмолвно покачал головой.

– Бедный Шойынкара, – печально вздохнул он. – Всем верблюдам был верблюд. Эх!..

Назавтра спозаранок Шарип взобрался на своего горлодера и тронулся в обратный путь. Было раннее лето 1931 года.

4

Подлинная беда пришла весной следующего года. Несколько мужчин во главе с Пахраддином промышляли солью на Карымбете. С солончакового озера они возили соль на ослах в город Конырат.

Вот уже месяц как от них не было никаких вестей. Жизнь в ауле совсем замерла.

Первыми, как оказалось, покидают голодающий аул собаки. В пустыню они убежали, охоту за мышами предпочли. Аульные женщины собрались и, возглавляемые Дау-апой, подошли к Лабак-ахуну. Старец, восседая на вершине холма и отбивая поклоны высохшей головой, день-деньской проводил в молитвах. Изможденный ахун, похожий на живого духа, поглаживая бороду, выслушал народ. Дау-апа, так и не сняв со спины спящего внука, чуть наклонившись, начала речь.

– Кайнага, о чем вы думаете? Что-то надо делать. Конечно, раньше времени о плохом говорить нельзя, но если наши мужчины однажды не вернуться, как быть нам тогда? Умирать всем здесь?

– Подождем еще одну ночь. Иншалла, будет весточка... – ответил провидец-ахун, теребя бороду.

Ночь была ветренная. Без луны. Не было видно ни зги. Заснул аул. Неугомонный ветер трепал кошму на юртах. Временами порывы его были так сильны, что нещадно скрипели шаныраки, уйки, и казалось, вот-вот какая-нибудь юрта не выдержит напора непогоды – рухнет. Страшно было Хансулу. Укутывая спящего Тугелхана, прислушивалась она к внешнему миру – гудящему, свистящему, стонущему, словно неведомые чудовища рыскали по беспомощному, безпризорному аулу. Сон покинул Хансулу, кошмарные видения не оставляли ее. Что-то зашумело у самой стены.

– Апа! – вскричала Хансулу, вскакивая.

– Бисмилля! Бисмилля! Что такое? – подняла голову Сырга.

– У стены кто-то...

– Да мыши, господи, кто же еще?

Мать зажгла керосинку, обошла юрту, оглядела стену.

– Мыши, спи, – сказала она, зевая.

Глаза Хансулу задержались на сыне, и сердце ее растаяло. Надо же малышу уродиться таким: нос, брови, лоб – о господи! – отцовы! Это умиляло ее, она, склонившись, любовно поцеловала пальчики выпроставшихся из-под одеяла маленьких ножек, шевелил малыш ими во сне. Ветер выл беспрестанно, трещали завязки туырлыка¹. Словно за стеной бушевал поток, уносящий куда-то весь мир. Но, успокоенная, Хансулу прижимая к себе малыша, задремала. И очнулась вскоре от шума. Смотрит, мать керосинку разжигает.

– Ты что, апа?

– Отец твой приехал! – объявила та и открыла дверь.

Вошел отец в длинной телогрейке. Под шапкой платком обвязался так, будто зубы у него болят. Лицо почернело, опухло. Сапоги в пыли.

– Добрались, сокол мой? – засуетилась мать, принимая из его рук коржун.

– Добрались, – неохотно ответил отец, едва языком ворочая.

– Задержались что-то...

Отец поморщился, видимо, у него болела голова. Сырга, присев, начала стягивать с него сапоги. А он, хмурясь, коротко изложил все, что с ними было:

– Соль не брали, а если брали, так за бесценнок, вот и закрутились. Не говоря о зерне, даже просо не по карману нам. Килограмм больше двух сомов. А раз соль не пошла на базаре, пришлось продать мелкую живность узбекам. За три килограмма проса. Оно в хорджуне, – голос Пахраддина задрожал и он взялся за голову.

Сырга тотчас поднялась и принялась массировать ему голову.

– Степняки в города хлынули... Голодные, босые, мор начался, мрет народ...

Хансулу начала было заливать чайник, но отец от чая отказался, пожелал лечь. Сырга постелила.

Стягивая с себя прохудившуюся телогрейку, Пахраддин сказал:

– С рассветом, похоже, тронемся к побережью. Плохие наступили времена.

Сырга, придерживая за голову, помогла мужу лечь. Погасила лампу.

Хансулу удивило отцовское «тронемся».

Утром отец велел развести очаг, а сам, завернувшись в шубу, сел рядом, лицом к огню, и долго, до седьмого пота, пил чай. Пришёл Лабак-ахун. На гостевом месте наскоро благословение какое-то пробормотал и, закрыв глаза, ладонями по лицу провел. Посидел некоторое время молча, пальцами белую бороду теребя. Мысленно, похоже, все мироздание обозрел, такой у него отрешенный был вид. Пахраддин безмолвствовал. Завернувшись в шубу, тянул и тянул наливаемый женой крутой кипяток-чай.

– Э-э, – протянул ахун, – другого выхода, кроме того, как возвращаться, не осталось?

– Не осталось, – ответил Пахраддин.

– Э-э, – запел опять протяжно ахун и закивал головой. Долго кивал. Затем как пришел, так и ушел – прямой, негибачый, непроницаемый, в белом, стелющемся полами по земле чапане, в белой чалме, с белым посохом в руке.

К этому времени и соседи, похоже, встали. Слышались визгливые вскрики женщин, плачущие детские голоса.

– Не знаю, какой день бог даст, то ли будет дождь, то ли нет, – с этими словами Сырга поглядела через тундик юрты на небо – оно было в мутно-серых полосах.

Пахраддин, опрокинув пиалу кверху дном, вытерся полотенцем, сказал:

¹ Туырлык – завязки кошм, которыми покрывают юрту.

– Берите только необходимое. Постель, посуду, одежду. Что ишак поднимет, остальное оставим, – и, показывая на кереге, попросил дочь, – подай-ка...

Черная плюшевая торба висела на решетке. В ней – старые тетради, те, что с родословной казахов, которые он заполнял много лет. Что в них написано, об этом даже близкие Пахраддину люди не знали. Если кто-то и любопытствовал, он отделывался коротко: история, мол...

Хансулу подала торбу отцу. Пахраддин листал пожелтевшие страницы не спеша, молча листал, долго. Дочь с матерью, занятые приготовлениями к дороге, собиравшие вещи в хорджуны, недоуменно переглядывались, дескать, что с отцом? Нашел же подходящее время для чтения...

А он знай перебирает бело-желтые страницы, вглядывается в красиво выведенный арабскими буквами текст.

И – неожиданно с треском разорвал одну тетрадку пополам. Еще на части разодрал и клочки швырнул в огонь. Вспыхнула бумага.

Хансулу и Сырга оцепенели на месте.

Пахраддин покинул юрту. Ветер не стихал, гнал по аулу поземку, вздымал песок из-под юрт, делая еще более неприглядной и без того печальную картину пошедшего прахом бытия. Метались бестолково по аулу женщины, дети. Суматоха с узлами, с прочим домашним хламом, выволакиваемым из юрт. Это совсем другая откочевка, не похожая на прежние. Эта скорее не откочевка, а уход в скитание; что, как говорится, сможешь унести на руках, унесешь, а что не сможешь – бросишь, оставишь. Исхудавшие старики и старухи, обносившиеся люди, дети в лохмотьях, – у изголодавшихся людей вид был неважный. Мужчины аула, вернувшиеся с Пахраддином из города, рассказали своим отчаявшимся в ожидании семьям, какой поход им предстоит. На берега Амударьи, как услышали они в Коньрате, пожаловали представители из Алматы. Задача их – собрать воедино рассеявшиеся по пескам голодные аулы, бежавшие в пустыню из-за нежелания идти в коллективы и теперь бродяжничающие. Сбор намечается на берегу Амударьи, по которой беженцев судном должны доставить на родину. И еще они слышали, что Сталин якобы покритиковал жестоко Голощекина: «Кочевой народ бежал с родной земли из-за перегибов местных активистов и начальства, это идет вразрез с политикой партии», после этого якобы и поскакали гонцы республики в разные концы, и к соседям, разумеется, – к русским, узбекам, киргизам, туркменам, каракалпакам, на земли которых и хлынули поначалу перепуганные казахи, чтобы оттуда выбраться уже в Китай, Иран, Афганистан.

Когда же наступил момент оставить на безлюдье и юрту, и вместе с ней то, что наживалось годами, возник стихийный бунт. Бабий бунт.

– До чего безмозглые у нас мужики! – как обычно начала Катира, жена Кикымбая, злая от того, что узлы, которые она накладывала на ишака, не могли уместиться на его спине. – Знали, что назад попрем, какого лешего из каллектепа уходили?

– Замолчи, треклятая, заткнись! – орал на нее Кикымбай, подступая к ней.

Вопли Катиры Пахраддин воспринимал как проклятие ему одному. Точно стрелы вонзались они в душу, пронимали до костей. Он зажал уши, не желая слушать вопли женщин. Горело со стыда лицо, жег душу выпад вздорной Катиры, слова пакостной женщины били, как камча...

Сырга и Хансулу выволокли из дома два мешка с постелью, погрузили их на ишака. И коржун с посудой и довольствием на ишака положили. Ишак оказался

навьючен – дальше некуда. Видели это жена и дочь, но все равно суматошились. Их бы воля, ничего бы не оставили. Желчь поднялась в Пахраддине. Не поймет, на кого злится. Или на судьбу, которая, вызволив из многих лабиринтов, привела и уперла его в этот тупик, или на себя, всегда опаздывающего и попавшего теперь в эту жестокую петлю, или от раздражения на таких глупых баб, как Катира? От бессилия злорадия. Лицо Пахраддина вспухло и пошло темными пятнами, а брови и борода словно инеем покрылись. Жена и дочь не заметили его состояния. Они металась туда и сюда, хватаясь то за одну вещь, то за другую.

А тут еще Сырга-байбише:

– Ой-бу-уй, сокол ты мой! Про казан-то мы забыли! – и к черному котлу на очаге кинулась. Большой он. Дочь подбежала, за второе ушко ухватилась. Еле волокут вдвоем. Сказать им – бросьте, язык у Пахраддина не поворачивается. Пахраддин, стиснув зубы, смотрел, как жена и дочь волокли казан-котел чугунный. Сколько лет кормил их старый прокопченный казан, а взять нельзя – спина ишака не выдержит.

– Не поместится, – сказал, как обычно, деликатно, но жена и дочь не услышали. Пыхтят-сопят, тащут казан к нему. Тут-то Пахраддин и взвился: – Не поместится! Ну куда вы его? Куда?

Впервые, наверное, поднял он голос на жену и дочь. Те, испугавшись, уронили казан. Лица на обеих нет. Почернел Пахраддин, отвернулся от них. «О бог-искуситель! По-твоему, это как раз то, чего я еще не изведаль в своей жизни? Это?...», – бормотал он, глядя на взбаламученный горизонт. Рыдания подкатили к горлу, глаза были сухи, без слез. На душе пустота – как и вокруг. В ушах – свист и вой ветра.

– Кончайте, – кинул он, устало прохаживаясь.

Многие, подгоняя ишаков, вышли толпой в путь-дорогу. Дау-апа будто привязана к юрте, не может ее оставить. Слышит Пахраддин, честит она кого-то последними словами. И ишака-то у старухи нет.

– Принеси ее вещи! – велел он Хансулу.

Два узла у Дау-апы, их кое-как водрузили на ишака. Пора бы трогаться. Дау-апа вернулась в свою юрту, и оттуда донеслось ее громкое сетование:

– Всесильный боже, сделал на беду мою невестку больной! Что теперь делать?!

Дау-апа вышла из дому, за ней с плачем бежал внук.

– Ау, Пахраддин, что мне делать? Моя сумасшедшая невестка не хочет идти. Тихо говорю ей – не понимает. Громко говорю – плачет. Как мне быть, а?

Пахраддин к Хансулу и Сырге повернулся:

– Хоть обманом, что ли, выведите ее как-нибудь!

Балкия с распущенными волосами сидела спиной к порогу, крепко уцепившись за решетки кереге. Еще больше подобралась, когда увидела Хансулу и Сыргу. Старое платье на ней с рваным плечом.

– Дайте я попробую! – попросила Хансулу, выпроваживая Дау-апу и мать. – Балкия!

Вздрогнула женщина, обернулась к ней. Глаза у нее безумные. Не узнала.

– Я же Хансулу!

Балкия теперь уставилась на притолоку двери. Хансулу достала зеркальце и гребешок, положила перед ней. Испытанный ход. И раньше вот так удавалось поухаживать за больной женщиной: мыла ей голову, расчесывала волосы.

– Ну-ка, причешу я тебя! – предложила Хансулу и сейчас, чувствуя, что Балкия начинает к ней прислушиваться.

Скоро Хансулу вывела ее за руку из юрты. К этому времени в ауле ни души не осталось, пустой он стоял, будто выпотрошенный. Пыльный суховея шнырял между покинутыми домами, вздымая мусор, гоняя клочки бумаги.

Аульчане шли пешком, волоклись на увал толпой, замыкали беспорядочную гурьбу Пахраддин, Дау-апа, Сырга, Балкия, Хансулу. Между уходящими и аулом сновали и брошенные собаки, те самые, что подались было в пустыню охотиться на мышей, а теперь почему-то вернулись. Беднягам было невдомек, куда это отправляются люди без прежнего скота. Потрусят псы некоторое время за уходящими, а потом замирают и, оглядываясь на безжизненный аул, скулят и воют.

Пахраддин старался идти боком к ветру. К голосу великого суховея, раскачивающего кустарники, примешивался некий гул, будто мир вокруг тяжело вздыхал и постанывал. Будто страшная беда, способная сокрушить вселенную, поднимала голову. Пыльный занавес заслонило солнце и, казалось, весь белый свет. Небо заволокло красноватой воющей мглой. Оно казалось предвестием Последнего срока. Пахраддин не в силах был оглянуться на остающиеся пустые дома, на брошенный аул, беспризорный, осиротевший. Теперь, что бы ни случилось, надо идти только вперед... В том месте, где дорога, поднявшись на верх бархана, дальше спускалась вниз, Пахраддин остановился, вытер пот со лба – подъем ему дался тяжело, грузен он. Но оборачиваться назад не стал. Был он хмуρο собран в себе. И словно застыло в нем это состояние. Зато жена, дочь, дети, Дау-апа обернулись.

В самом центре бескрайнего царства барханов, на крохотной равнинной площадке притулился робко небольшой аул. Серые, милые сердцу юрты с закрытыми наглухо дверями и тундиками, нежданно-негаданно опустевшие дома сиротливо жались друг к другу. Пыльная буря накрывала аул.

Женщины, кроме Балкии, начали всхлипывать. Сырга-байбише до боли в глазах всматривалась в белую юрту, перед порогом которой чернел казан, ею брошенный. Слезы побежали-покатились по лицу; боясь мужа, она захватила зубами край жаулыка, беззвучно расплакалась.

Вой ветра, теребящего неустанно головки столетника и караганника, представился вдруг Пахраддину женским плачем, повисшим между небом и землей. Содрогнулся он, не смея глядеть на женщин, обливающихся слезами. В сердцах полоснул сухой веткой по крупу большого серого ишака, который, воспользовавшись остановкой, дремал, развесив длинные уши.

– Чу-у, – погнал его хозяин.

СТЕПНОЙ АПОКАЛИПСИС

1

Будто началось солнечное затмение. Будто наступило светопреставление, то самое, которое Лабак-ахун пророчил...

Хансулу, подавленная, со слезами на глазах бредет по мягкой, осыпающейся под ногами тропе. За спиной – ребенок. Позади, за перевалом, аул, покинутый, неприятный, как кладбище. Оттуда доносится печальный вой оставшихся собак.

Тоскливо они воют, предвещая недоброе. Не решается Хансулу оглянуться, не смеет почему-то. Толпа унылых людей, бредущих по пескам. Впереди – затянутый клубящейся пылью, неведомо что сулящий серый горизонт. Впереди неизвестная судьба.

Солнце уже высоко, но его не видно в тусклом небе. Там и тут по обеим сторонам пути завихряется пыль. Кустарники, раскачиваясь на ветру, поют свою протяжную глухую песню. В глаза бьют крупцы песка. Бескрайний мир сузился до небольшой щели перед глазами. Что-то необычное предчувствует Хансулу, и сердце в страхе стучит в груди.

По тропе, змеящейся между барханами, пылит, вышагивает толпа. Вот чей-то деревянный сундук, брошенный на краю тамарисковых зарослей, распахнутая крышка – как зев дьявола. Хансулу, приблизившись, узнала его: это сундук Кульзипы, ее гордость; она всегда его на видном месте в юрте ставила. Все, конечно, его увидели, черный, инкрустированный костью, но прошли молча. Ни отец, ни мать, ни Дау-апа и словом не обмолвились. Лишь Тугелхан на ее спине вытянул указательный пальчик в сторону сундука:

– Ап! Ап!

Хансулу потом узнала: отцу Кульзипы, старому, беззубому, с провалившимся ртом, оказывается, плохо стало. Старик не смог идти, вот Кульзипа и бросила кебеже, а на ишака отца посадила.

Идти весь день – сил не было. Растянувшаяся колонна в полдень сделала привал в тамарисковой роще. Сбросили люди с себя груз, хворосту насобирали, костерки там и тут дымно запылали, чайники с водой над ними повисли. Подоспела к привалу и замыкавшая шествие семья Хансулу. Поклажу под кустом расположили, там, где нет ветра, на земле расстелили алашу. Под каждым кустом расположилась какая-нибудь семья. Люди по старой привычке собрались отобедать. Хансулу, когда они еще в песках Айту жили, видела цыганский табор. И сейчас народ, под кустами рассыпавшийся, живо напомнил ей тот табор.

Много костров дымит вокруг, кипят чайники, однако нос не улавливает знакомого запаха мяса, аромата свежего наваристого бульона. Потому громче обычного покрикивают на ребятишек женщины, их раздраженные голоса режут уши. Более всех Катира изощрается:

– Куды прешь, рожа ненасытная! В огонь, гляди, бестолочь, залезет!

Это она собственных детей бранит, которые к костру тянутся.

Какая-то женщина стонет и словно в бреду прокликает:

– О, скаредный бог!

За дастарханом Хансулу – две семьи, на дастархане – жареная кукуруза, немного хлеба, кипяток.

Только они к трапезе приступили, как Дау-апа дрожащим голосом воскликнула:

– Ойбу-уй, судьба наша!

К ним подошел оборвыш с деревянным тостаганом в руке, мальчик поочередно обходил людей за дастарханами. Был в ауле один бедняк – Майлыбай. Тихоня-тихоней, соломинки, как говорится, у овцы не отнимет, а детей – куча, не то девять, не то десять. Кончились, видать, у бедняги припасы, сынишка попрошайничать пошел. Люди отщипывали ему от своих запасов, клали в чашу. Кто-то, видать, встречал его раздраженно, потому у некоторых семей мальчик не задерживался. Тостаган в его руке – битый-перебитый, мальчишка бос, выцветшие штаны рва-

ные, лет ему примерно десять-одиннадцать. Мальчик в глаза никому не смотрит, голову, как опустил, так и не поднимает.

– Ау, подойди поближе! – сказал Пахраддин, протягивая ему с дастархана горсть жареных кукурузных зерен.

Тот, несмело ступая, приблизился. Пахраддин заглянул в тостаган. Хансулу – тоже. Проса и кукурузы со всех дастарханов и горсти не набралось.

– Это ты столько насобирал?! – недоверчиво спросил Пахраддин, засопев от удивления. Он не верил своим глазам. Мальчик кивнул.

Из тряпичного мешочка, который лежал под коленом Сырга, Пахраддин отсыпал ему еще горсть. Мальчик тут же, точно боялся, что его остановят, побежал восвояси. Сырга, подняв на мужа усталые глаза, вскинула брови. Пахраддин понял байбише. Понял и протянул как-то беспомощно:

– Э-э! Э-э!

Тоска охватила его, плечи еще сильнее поникли. Сырга куда-то в сторону показала:

– Вон... еще идет... всё раздай, что осталось...

Тихо она это сказала, но – с горечью. Поднял Пахраддин голову. И в самом деле, со всех сторон, словно потерянные ягнята, брели оборванцы.

– Милые вы мои, да откуда вы все? – громыхнула басом Дау-апа.

Дети боязливо остановились.

– Идите! Идите! – позвал их Пахраддин. Тон у него был жесткий.

– Сокол мой..., – начала было Сырга.

Но он ее оборвал:

– Прекрати! Умрем, так вместе! Моя душа не лучше, чем их души.

На том разговор и закончился. В каждую протянутую ладонь отсыпал Пахраддин по горсточке зерна.

Отец Кульзипы скончался. Без плача и лишних слов похоронили его люди. Никто и слезы не проронил. Одна Кульзипа всплакнула...

После обеда шествие продолжилось.

Всю дорогу Хансулу следила за Балкией, боясь за нее. Была у больной женщины дурная повадка – умчаться куда глаза глядят! Но Балкия пока не убегала. Шла послушная, нахохленная, как верблюжонок в поводу. Не заметили за ней ничего подозрительного ни Дау-апа, ни Сырга, и вскоре они оставили ее в покое, прекратили слежку. Только с наступлением темноты Балкия показала, на что способна...

После обеда путники одолели еще три больших подъема. С наступлением вечера люди выбрали для ночлега заросший ковылем бархан. Спутав ноги ишакам, отпустили их пастись, сами собрали сушняк, соорудили из выюков укрытия от ветра. В безлунную густую ночь бархан осветился кострами. Меж ними сновали человеческие силуэты, со стороны бархан, возможно, напоминал дьявольский шабаш.

– Ойбу! Пропащая! – воскликнула Дау-апа, безмятежно гревшаяся у костерка. – Келин где, о господи! – Про сноху Дау-апа вспомнила. – Балкия! – позвала она. – Балкия-а-а!

Молчание. Все вскочили. И Пахраддин. Отойдя от огня, дружно кричали в ночь:

– Балкия! Балкия!

Тьма была непроглядная. Хансулу, присев, взгляделась в ночь. Со всех сторон громоздились темные купы кустарников. Неожиданно раздался звонкий женский хохот. Хансулу в ужасе задрожала.

– Там она! – вскричал отец и неуклюже потопал в темноту.

После этого смеха Хансулу было страшно удаляться от стана. За Пахраддином кинулись бежать и другие мужчины. Голоса, звавшие Балкию, удалялись и скоро совсем затихли. Хансулу и Сырга постояли некоторое время на краю бархана и вернулись.

Сколько ни звали, ни кричали, оглашая пустыню криками, так и не нашли Балкии в эту ночь.

В утренних потемках Пахраддин сел на ишака и опять отправился на ее поиски. Лабак-ахуну он поручил продолжать путь, так как люди изголодались и не следует их задерживать. Дау-апа, Хансулу, Сырга-байбише остались на бархане дожидаться Пахраддина.

...Не стал Пахраддин утруждать себя поисками следов Балкии. Сразу на тропу вышел, по которой они вчера шли, взял курс к прежнему становищу. Посветлело, вошло солнце. Перед рассветом дождик проморосил, потому запах влажного песка и молодой травы, только-только прорастающей, бил в ноздри. Жадно вдыхал Пахраддин земные ароматы. Очень скоро на тропе и след Балкии обнаружился. Босые ступни четко отпечатались на песке. Нигде, получается, и не передыхая, бедняжка прямоком бежала к аулу. Не жалел теперь ишака Пахраддин. Гнал его и гнал. Только во второй половине дня и добрался он до перевала, на котором вчера отдыхал.

Ишак старательно карабкался на осыпающийся под копытами подъем. Вот-вот и аул появится. Странное чувство завладело Пахраддином. Неожиданное чувство. Это был необъяснимый и невольный страх увидеть свой аул и свою юрту. Нельзя было ему возвращаться к покинутому становищу, не нужно было видеть брошенный дом.

Тем временем ишак был уже на вершине бархана. Ишак, он на то и ишак – как увидел безлюдный аул, так и давай кричать:

– Иа! Иа!

Среди дюн в котловине по-прежнему светлыми яйцами грудились серые юрты. Пахраддин невольно загляделся, словно подсознательно ожидая, что на крик ишака кто-то выбежит из аула. Однако не показалось и тени. Не открылась ни одна завязанная дверь. Только одинокий смерч кружил вокруг домов, поднимая в воздух пепел разоренных очагов.

Пахраддин повернул ишака к могиле Булыша, одиноко темневшей на невысоком холме. Не огорожена могилка, только прутик кто-то воткнул в изголовье; горка земли вместо Булыша. Незабвенный Булыш!..

– О-о, Булыш... родной мой Булыш! – проговорил Пахраддин, слезая с ишака. – Ты здесь, мой Булыш? Как тебе лежится, родной?

Присев на корточки рядом с могилой, стал читать поминальный аят. Ишак прыдал длинными висячими ушами, невдомек ему, что хозяин на пустой вершине потерял.

Через какое-то время поднялся Пахраддин, вытер глаза, песчинки с колен стряхнул. Смотрит, вокруг могилы – следы босых ног Балкии. «Вот где горемычная!»

Огляделся, увидел ее наконец. Из-за столетника она за ним подсматривала. Отпрянула, как только он ее заметил, в сторону бросилась.

– Балкия! Эй! Постой! – устремился за ней Пахраддин.

Не бежит, летит Балкия по чистому песку, только пятки сверкают; копна волос по спине рассыпалась, от полных белых икр, мелькающих впереди, рябит в глазах.

– Да погоди ты! Погоди ж, говорю! Ай-хай! – не поспевает за беглянкой Пахраддин.

А Балкия, одетая в серую разодранную ночную рубашку, назад глянет – и дай бог ноги!

– Балкия! Погоди! Балкия! – кричит Пахраддин.

Не слышит его сумасшедшая, она за перевалом скрылась. Одышка у Пахраддина, на ногах сапоги, на теле чапан, не бежит – переваливается с ноги на ногу, вот и встал, чтобы передохнуть. Затем на перевал поднялся. Заставил себя подняться. Балкии и след простыл, не видать ее.

– Ну и хлопот с несчастной! – выдохнул он в сердцах, обозревая бескрайний песчаный мир перед собой. – Проклятая богом, одичала она, несется, как сайгак! Где ее искать? Куда ни глянь – валы барханов. Куда она запропала?

Ишак вдруг разревелся. Обернулся Пахраддин, а ишак, им спутанный, удаляется нелепыми прыжками. Тени за ним метнулись, не то собаки, не то волки. Пока соображал Пахраддин, что происходит, ишак, взбрыкнув задом, исчез в низине.

Пахраддин застыл, ошеломленный. «Волки!» Похолодел тотчас от страха. «Откуда?» Вспомнил, как орал на перевале ишак, когда аул увидел: сам, получается, беду накликать. Тьфу, проклятый!.. Вот же наказание – волков только ему недоставало! Балкия, считай, пропала – словно растворилась в песках. Сам он стоит, бессильно опустив руки. Волки, поди, уже рвут на части глупого ишака. Разделаются с ним, потом серой стаей выскочат на вершину бархана высматривать его, – что он будет делать?

Тяжелой трусцой побежал Пахраддин к аулу. Задыхаясь, сопя, облился горячим потом. Чувствует – не добежать ему. И в глазах темнеет от того, возможно, что не ел давно. И ноги тяжелые, не слушаются.

Вот и сай с аулом. Сиротливые, брошенные дома. Всё неподвижно. Мертвая тишина. Только глухой топот его шагов.

Он приблизился к крайней кикымбаевской юрте, отдуваясь на ходу, когда от ее стены отделилось существо размером с небольшого ягненка и понеслось с визгом прочь. Тьфу, божья тварь, песчаная крыса! Никогда Пахраддин так не пугался. Мурашки по спине пробежали, так ему жутко стало. Еще две крысы умчались, вереща. Ноги уже не держали его. Свело их немощью. Юрта, которой завладели крысы, показалась ему пострашней волков. Глаза заливало потом. Качаясь на ходу от головокружения, направился он было к ближайшей дырявой юрте Дау-апы, да по пути, оступившись ногой в яму очага, грузно упал, сильно ушибся. Упираясь руками, кое-как встал, подумав: «Здесь мне, однако, и конец...» Страхнув со штанин золу, выпрямился на дрожащих ногах, с трудом пошел к юрте Дау-апы.

За юртой Дау-апы, кстати, его собственная. Дверь и тундик закрыты наглухо, большой черный казан перед порогом лежит опрокинутый, земля изрыта мышами. Нет, к себе он не войдет даже под страхом смерти!

Юрта Дау-апы оказалась незапертой, дверь просто прихлопнули. Но вот войти в нее стоило ему немалых усилий; казалось, она набита песчаными крысами. Мерзкие, гнусные твари!.. Выбора не было, сунулся в юрту. Полутемно, глаза ничего не различали.. Постоял, ежась, ощущение – будто он, живой, в могиле очутился. Да-а, какое может быть тепло в доме, из которого ушел человек?! Пустота склепа... Старенький, залатанный половичок лежал на гостевом месте. Собрался с силами. Открыв скрипучую дверь, вытряс его, разостлал снова, закрыл дверь на петлю. Сел на половичок. Уставшее, ослабевшее тело молило об отдыхе. Он и подумал: «Высплюсь, солнце заходит. Пропади всё пропадом, обратно с рассветом двинусь». Прислушиваясь к звукам окрест, не заметил, как сомкнулись веки.

...Очнулся ночью, оказывается, изрядно продрог. Через дыру в тундике виднелись яркие звезды. В доме царила тьма. Сердце непонятно от чего отстукивало тревожно: «Дурс-дурс...» Безотчетный страх овладел им. Старится он, небось, – всего стал бояться. Стоило так подумать, как глаза, остановившись, замерли на двери, запрятанной в густой тени. Кто-то как будто затаился там, за ним наблюдая. Пахраддин даже дыхание чье-то услышал. Стал шарить вокруг себя. Сапог подвернулся, который он снял ночью. В щель двери – о боже! – на него глядел чей-то вытаращенный глаз, он ясно его различил.

– А-ай! – вскричал он яростно и метнул сапог. Дверь загрохотала.

Тот, кто за ним наблюдал – дьявол ли, пери¹ ли, – бросился наутек.

– Айт! – заорал Пахраддин, вскакивая с места. Шорох ног неведомого существа затих вдали.

– Астафиралла! О, духи мои! – Пахраддин стал читать молитвенные аяты. Один за другим. Какой уж теперь сон? До рассвета взад-вперед по тесной юрте проходил. На заре вышел из юрты, совершил дарет², прочитал намаз.

Рассветные сумерки были вокруг, когда он, взяв палку в руки, пошел из беспризорного аула.

2

Хансулу, Дау-апа, Сырга-байбише не спали две ночи, ожидая Пахраддина. Костер развели на бархане. Кричали, полагая, что Пахраддин заблудился.

– Пропади всё пропадом! Всё из-за сучки этой!.. Что ее искать-то было? Околеет – так пусть ее земля поглотит, – громко выговаривала Дау-апа.

Сырга молчала. Накроется безрукавкой, к костру подсядет и на огонь всё смотрит, смотрит. С того дня, как, оставив дом, аул, пустились они в путь, словно отрешилась она от всего, в какое-то безучастное состояние впала. И раньше была немногословна деликатно-мягкая мать, теперь же совсем говорить перестала, передвигалась, как тень.

С восходом солнца Хансулу обошла ближние барханы, нарвала дикой моркови, накопала луку. Без этих корений, которые хоть как-то перебивали голод, они бы за день прикончили остаток зерна в торбе.

Одну луковицу Хансулу положила в рот. Как-никак – подкрепление для ослабленного организма. Ну, а морковь, морковь уже еда самая что ни есть настоящая. В поисках моркови и удалилась она незаметно от становища. Крик Дау-

¹ Пери – сказочное существо.

² Дарет – отправление естественных надобностей и омовение по ритуалу.

апы раздался откуда-то снизу. С предрассветными сумерками старуха, видимо, в брошенный аул отправилась. Вернулась, что ли? Хансулу побежала, путаясь в длинном подоле, на стан. Увидела с вершины – Дау-апа жаулыком машет. У самого основания бархана стоит. Зовет ее, Хансулу, туда. Видать, весточка от отца. У восточного подножия бархана, вытянувшись во весь рост, лежал человек. Дау-апа сидела рядом. По чапану – темно-серому – Хансулу признала отца. Когда дочь подошла, он приподнял голову. Занедужил он, видно, лицо опухшее, с хрипом, надрывно кашлял, слезились глаза. Хорошо, что доплелся до бархана.

Общими усилиями, поддерживая с двух сторон, Дау-апа и Хансулу с трудом затащили его на вершину.

– Огня! Огня! – потребовал он.

Развели костер, вскипятили воду, дорожку натянули как укрытие от ветра, под пологом дастархан накрыли. Потрескались губы у Пахраддина. Глотнул кипятку, солью сдобренного. От хлеба кукурузного немного отщипнул, жареной пшеницы и кукурузы попробовал.

– Уф! – произносил он всякий раз, как отпивал глоток.

– О алла! О Барак-ата! О Бекет-ата! – громко зывала к духам предков Дау-апа.

Молчал Пахраддин. Теплым одеялом по горло укутался и тянул, тянул вздохлб кипятков. Хотел пропотеть как следует – недуг из себя выгнать.

К полудню стало припекать. Весеннее солнце яро. Высоко-высоко в небе запел жаворонок, жужжала-звенела мошкара. В песках зелень обычно с первым теплом прорастает. Куда ни глянешь – сочные поросли любимого скотиной рана, верблюжьей колочки, солодки, лопуха, ковыля. В ближних и дальних падах, промеж холмов струится прозрачный голубой воздух. Цветет-хорошеет пустынная даль. Засмотрелась на пышное разнотравье Хансулу, от красоты степи в горле перехватило дыхание.

...Долго еще сидел у дастархана Пахраддин, похрустывая жареной пшеницей, запивая ее кипятком, обливаясь потом, затем лег. Сырга-байбише одеяло ему со всех сторон подоткнула.

– Ау! – позвал он через некоторое время.

– Что? – встрепенулась Сырга.

– Что у нас пожевать-то осталось?

Не ответила Сырга. Маленькую черную торбу из коржуна вытащила, бросила перед ним. Это был своего рода упрек мужу за неурочную хлебосольность.

– И всё? – спросил он.

Не ответила Сырга. Отвернулась.

– Ым-м, – замычал Пахраддин. Закрыв глаза. Женщины притихли в ожидании, что он, хранитель очага, скажет еще.

– Воды сколько?

– Полбурдюка.

– Дау-апа! – Пахраддин еще плотнее запахнул в одеяло.

– Я слушаю, – откликнулась Дау-апа.

– Дау-апа, я сегодня, похоже, идти не смогу. Ну, а вы с Хансулу идите, нельзя вам задерживаться. Сырга со мной останется... Будем живы – догоним вас. Воду поделите. Кукурузы... горсточки две... оставьте. Остальное забирайте, и постель... Сколько унесете. Собирайтесь!

– Коке, может, надо быть вместе? – подала голос Хансулу. – Может...

– Довольно! – отрезал Пахраддин. – Шевелитесь!

Сырга-байбише, хранившая молчание, смахнула украдкой слезы.

– Верно говорит браток, милые мои, – заключила Дау-апа и тоскливо вздохнула.

Резко обозначились морщины на ее лице.

Хансулу и Дау-апа с малышами двинулись в путь. У Дау-апы на плече коржун, у Хансулу в руках торсык¹ с водой, узел с одеждой.

Безлюдная даль. Уходит Хансулу, оглядываясь на ковыльный бархан, на котором остались отец и мать. Мир будто растворился в ее горячих слезах, серый горизонт жидко расплывался в этом тумане, плавился, как свинец. Всё под небом и на земле словно замерло в удивлении, созерцая ее, несчастную, готовую умереть от собственной беспомощности. Жизнь словно потеряла смысл. Если бы только не билось сердце в груди, за немую и безжизненную можно было принять Хансулу. Не в состоянии что-либо понимать, в прострации она тащилась по пескам. Мир перед глазами подернулся красноватой дымкой. Ни одна мысль не приходила в голову. Одно только было в сознании – ее малыш, плетущийся рядом. Только одно она знала – нельзя разлучаться с ним. Зная это, крепче сжимала его ручонку.

Долго не просыхали глаза ни у нее, ни у ребенка.

Дау-апа шла впереди с длинной палкой в руке, с тяжелым коржуном на спине. Пригнулась под его тяжестью. Помалкивает, сцепив зубы. Выждав момент, произнесла сочувственно:

– Э-э, доченька моя, что бы ни случилось, крепись. Лишь бы Аллах не оставил нас без помощи. Чего только не видела твоя бедная апа, идущая впереди тебя...

Грустно, глуховато звучит грубый голос старухи. Тропа между барханами вьется, иногда по гладкому солончаку тянется. Чем дальше они уходят, тем чаще попадаются верблюжья колючка, тысячелистник, тамариск, чий. И торангыл пошел – высокий, крепкий, густым частоколом в высоту тянущийся. Все эти приметы напоминают, что пустыня понемногу остается позади.

К вечеру дети захныкали, прося хлеба. Дорога по солончаку шла мимо рощиц тамариска и зарослей чия. Тамариск с человеческий рост, под ним и передохнуть можно. Да и ветра нет. Сбросив с плеча коржун, Дау-апа распрямилась, разминая затекшую поясницу.

– Ну-ка, доченька, что там у тебя, развязывай-ка узелок! – повелела она.

Накануне, когда мать Сырга воду и еду делила, Дау-апа не вмешивалась, хлопотала по своим делам. В узелке были пол-лепешки кукурузной и с горсточки две жареной пшеницы. Вот и весь провиант. Хансулу и передала его старухе. Дети, завидев хлеб, встрепенулись, потянулись было, но Дау-апа на них прикрикнула:

– Стойте! Потерпите!

Она бережно расправила платок с провиантом, руки у нее были темные, сохшиеся, пальцы корявые, в узлах.

– Потерпите чуток, детки!

Пшеницу она сначала поделила на четыре, потом на восемь, а потом на двенадцать частей. Поглядеть со стороны, так будто на бобах старуха гадает. Ни Хансулу, ни дети не понимают, зачем она это делает – запас-то скромный, надолго его не хватит.

– До Конырата, самое большее, еще две ночевки, гм-м, – бормотала старуха, не обращая внимания на спутников. – Та-ак, – разломил пополам и хлеб.

¹ Бурдючок.

Запах лепешки защекотал нос. У Хансулу аж слюнки потекли. Две половинки лепешки Дау-апа еще надвое разделила. Детям, в конечном счете, по крохотному, с их ладошку, кусочку досталось.

– Дорога длинная, милые мои, потерпите. Придем и будем кормиться, – сказала она.

Хансулу положила в рот щепотку пшеницы. Будто не зерна, твердые, хрустящие, а кусочки сливочного масла – таяли они во рту. Только сейчас почувствовала, как изголодалась, все нутро по-звериному напряглось. О-о, как пахнет хлебушек-то!.. Не оторвать от него глаз.

Дау-апа собрала платок в узел. Все глаза по-прежнему притягивал он. Дау-апа его в коржун втиснула. Потом они встали.

Тамарисковая рощица вскоре осталась позади. Тропа пошла снова виться, она теперь огибала редкие песчаные подъемы со столетником и караганником.

3

Пахраддину привиделся сон.

Будто прежние это дни, когда не было смуты в народе. Сплошь белые, словно чайки, юрты на берегу озера. Тьма народу в ауле. То ли празднество какое-то, то ли просто хороший, радостный день. Все ждут, что скажет Пахраддин. Ему всеобщий почет и уважение. Как бий, он должен сказать слово свое. Речь держать. Боже, разве Пахраддин уклонялся когда-нибудь от речи при всем народе? Он окидывает взглядом люд, чтобы начать говорить. Сегодня слово его особенное, из глубины веков начнет он разговор: откуда народ с ураном¹ Алаша идет, кто его прямые предки. Народ, не знающий своего происхождения, породит безродных. Не для сегодняшней ли речи ворошил он столько книг-шежире? И накопленное в душе будто бы готово говорить, петь до утра, словно соловей. Будто бы – открой он рот – сами собой польются из гортани слова откровения. На пике вдохновения, прокашлявшись, повернулся к народу. Только начал говорить, как... проснулся.

Пахраддин лежал на спине. Приподняв голову, оглядел округу. Странное состояние им владело, не знал он, верить или не верить тому, что он, Пахраддин, здесь, в пустыне, под открытым небом. Верь не верь, но под боком земля, а над головой небо, черно-синее, с искристо проступающими на нем звездами, оно летит к нему, вот-вот накроет с головой. Зажмурился Пахраддин. Эх, жаль, что всё оказалось сном. С одной стороны, не желая расставаться с истомой сна, с другой – не в состоянии мириться с тем, что несла суровая реальность, он находился в душевной смуте.

– Уф! – тоскливо выдохнул он, опуская голову на подушку.

Сна как не бывало. Зато другое ожило, перед глазами пробежали события последних дней: как они, побросав родные дома, аул, ушли в поисках спасения к городу, и что произошло с ними за этот долгий, тяжкий переход. Злую же шутку сыграла с ним судьба, принудив мотаться-скитаться по безлюдной пустыне, метаться туда и сюда, в конце концов, на этот песчаный гребень забросила. О Всевышний! Не сколько-нибудь, а шесть десятков лет длится его существование в бренном мире, так неужто этот безвестный бархан и есть завершение жизненного пути?! Почему он здесь? Почему лежит? Да и пойдет-то куда, если встанет? Где его пристанище? В каких горах, в каких степях его ждут?

¹ Уран – боевой клич и самоназвание.

Он смотрел на черно-синее необозримое небо с далекими редкими звездами, они светили слабо, словно свечи. То же небо – высокое, бездонное, знакомое ему исстари; те же, знакомые ему, божьи звезды. Такие они были, когда он, Пахраддин, мальчишкой бегал, и сейчас они те же. Не изменились они. Какая ширь! Безмолвная ширь! О Всевышний! Под этим небом кишмя кишат человеческие пути-дороги, словно муравьиные тропки, переплетаются судьбы, сталкиваются, разлетаются вдребезги. В пух и прах разбивается человек, чтобы свести воедино дела своей судьбы. Сколько человеческих лиц высохло, сколько волос поседело! Мнится человеку, что на нем одном мир держится, что вечно ему по брэнной земле шагать. В какие тяжкие он ни пускается, чтобы свои бездонные желания удовлетворить! Нет конца его стремлениям, ненасытности. Сколько людей стали рабами своих страстей и сгорели в этом огне. Мечутся туда-сюда, стремясь достичь порой низменных целей. Лгут, льстят, пресмыкаются, угодничают. О сострадании молят, сами подчас жалости не зная...

Так думал Пахраддин, глядя в тишине на звездное черно-синее небо. Шорох отвлек его. Забыл, бедняга, что он не один, что рядом душа живая. На шорох повернулся. Напрягся, преодолевая дрожь. Кто-то к нему шел, шаркая кожаными кебисами.

– Сырга? Ты? – спросил он изменившимся голосом.

– Я, – отозвалась Сырга слабо, едва слышно.

– Где ты ходишь, душа моя? – Он с трудом проглотил горячий ком, подкативший к горлу.

– Луку нарвала. Хотела, чтобы поспал ты.

«Боже ты мой!» – нежность захлестнула Пахраддина. Задержался глазами на байбише. Долго на нее глядел. Жаулык Сырга под подбородком повязала. Холщовую торбу, в которой был лук, сняла с плеча, на землю опустила. Молчит, неслышно двигается, точно тень. Защемило сердце Пахраддина, всё в душе перевернулось. «О, время, время, вспять повернувшееся», – затосковал он. Разве это не та самая Сырга, что некогда выступала павой?! О, время, время, всё довелось увидеть, и даже то, о чем никогда не помышлялось! Милая, дорогая сердцу Сырга! Несравненная среди женщин, Сырга! В юности тебя с райским цветком сравнивали, с небес, говорили, сошла. Тот, кто твою красоту видел, слышал твой мелодичный смех, не мог потом забыть это блаженство, усладу души. Заполучить тебя – значило звезду с неба сорвать. Он, Пахраддин, сорвал, с тех пор считал себя единственным счастливым джигитом на земле. С тех пор много прекрасных лет они прожили вместе, дней, озаренных любовным светом и добротой ее сердца, сиянием ее глаз. Добрая, незабвенная Сырга! Чуткая, как лань, Сырга! Уж лучше бы вытечь глазам Пахраддина, чем видеть эту холщовую торбу на твоём плече!..

Застонал Пахраддин, как раненный лев, вздохнул обреченно.

– Сокол мой, ты что? – Сырга присела рядом.

Как трепетно она смотрит, какая преданность в увлажненных глазах! Сама, подобно тени, едва движется, а его, Пахраддина, жалеет. О, Сырга, бесценная спутница жизни. Сырга! Что дал тебе твой муж? Какую такую силу выявил перед тобой? Чем тебя твой суженый удостоил, которого ты, как бога, чтила?! Холщовым мешком, в который ты, как бродяжка, лук собираешь?!

– Уф! – выдохнул Пахраддин, длинно выдохнул, будто дух испускал.

Испугалась Сырга.

– Бисмилля! Бисмилля! – едва не плача, зашептала она, склоняясь над ним.
– Что с тобой?

– Уф, Алла! Чем же я прогневил тебя? Уф! – заворочался тяжело Пахраддин, оторвал голову от земли. Плечи ходуном ходят, дрожь во всем теле. Из глаз градинками слезы катятся. – Чем я не угодил тебе, Аллах? Что я во зло человеку сделал? В чем моя вина?

– Бисмилля! Бисмилля! – шептала Сырга. Тоже расплакалась, обняла мужа
– Успокойся, сокол мой, успокойся!

– Почему, почему не проклинаешь меня?! Грешен ведь я, грешен!.. Виноват перед людьми... из-за меня бродягами они стали, перед тобой, перед детьми виноват. Тебя погубил, людей...

– Не надо, мой сокол. Божье это дело...

Тихий голос Сырги действовал утешающе. Примолк Пахраддин. Прижалась к нему Сырга, крепко прижалась.

– Разве ж плохое ты задумал? Ну, с места снял, так ради них же, ради людей ты это сделал! Те, что не пошли, тоже ведь не ахти как живут...

– Не знаю, уф! Если беда закружит – скоро не отпустит, говорят. Вот и нас с тобой зацепило, конца и края нет. А теперь мы нищие бродяги...

И оба они, скрытые ночью, погрузились в думы. Тяжкие это были думы.

– Люди, говоришь... Где они, эти люди? Почему они не ищут тебя сейчас, когда ты здесь, без сил? Хватился бы кто, пришел. Нету никого.

Ясно произнесла это Сырга, с горечью в голосе. Изумился Пахраддин. Не приходилось ему видеть, чтобы немногословная тихая Сырга была так уязвлена. От обиды, выходит, великой. Впервые Пахраддин видел ее такой. Верно она сказала про людей-то. Но, подобно ей, он уже не ждал помощи от тех, что ушли, а может, и дошли уже до Амударьи. Какая от них помощь? Им, несчастным, самим бы уцелеть да до родины добраться. Там, глядишь, и власть их приголубит, избегут, бог даст, голодной смерти.

– Байбише! – позвал он.

– Ау? – откликнулась Сырга.

– Тронемся?

– А ты что... можешь? – Сырга не скрыла радости.

4

Если человек голоден, без сил, каждый лишний шаг ему в тягость. К обеду следующего дня Хансулу почувствовала, что близка к умопомешательству. Как ни рассчитывали они с Дау-апой, а хлеб кончился. Когда сын, прося хлеба, зашелся в плаче, она подумала, что не выдержит этого, лишится рассудка. Потом понемногу привыкла, стала терпима к детскому плачу. Да и мальчики, слава богу, притихли постепенно – всё равно им ничего не давали, сколько ни хнычь. Сына она то на себе несла, взвалив на спину, то вела за руку. По дороге подкармливала временами, кладя ему в ротик по зернышку пшеницы, так курочка за цыпленком ходит. Ребенок, удовлетворяясь зернышком, засыпал на спине. У самой от голода темно в глазах, едва плетется, из последних сил идет.

Впереди, постукивая палкой, чуть пригнувшись, Дау-апа ковыляет. Дау-апа... удивительной воли человек! У Хансулу от изнеможения колени подгибаются, присесть хочется. И присела бы, да не делает этого – не смеет при Дау-апе.

стесняется. Сурова Дау-апа, не улыбнется. Лицо замкнуто-темное, словно опаленное огнем. Идет с упорством и решимостью воина. Хочет дойти, вот и идет. Потому Хансулу и заикнуться не смеет, что устала. А что? Возьмет да и одернет Дау-апа: молодая, скажет, а раскисла похуже старух, а ну-ка, пошевеливайся! Никто никогда на Хансулу не повышал голос, вот и идет, подстегиваемая собственным самолюбием, не хочется ей выглядеть слабее семидесятилетней женщины. А с другой стороны, как подумает о малыше, к ее спине прилепившемся, сама понимает, что не может она не идти. Не имеет права. И Шега в письме, которое тогда свекор привез, наказал: «Обо мне не думай. Сына береги».

Дау-апа справляется временами:

– Устала, детка?

А у Хансулу и сил-то ответить нет. Молчит она. Дау-апа ответа не дожидается:

– Потерпи, милая, – говорит. – Скоро отдохнем! Скоро! – подбадривает она Хансулу.

К обеду они дошли до длинной, обширной лощины, сплошь заросшей тамариском, торангылом, тальником, тут и остановились. Дау-апа поставила коржун на край обрывчика. Хансулу опустила на землю спящего ребенка. Бедный малыш безмолвен. Видать, изнемог. Одеяльце расстелили, детей на него усадили. На платочке перед ними – пшеница. Самая малость. Дау-апа и Хансулу тоже пожевали зерна. До чего же ароматна жареная пшеница! Тают зернышки во рту, как мед. Оголодавшие дети всё подобрали, всё похватили с платка.

Детям еще хочется, у бедняжек глаза горят. Но Дау-апа объявила:

– Хватит! Перекусили!

И собрала платок. Будто и не было его. Облизываются детишки, томительно вздыхают, переглядываются. Не в силах Хансулу вынести их голодных, вопрошающих глаз – она отвернулась, прослезившись.

Пустыню знойную разглядывает. Чисто небо, ясно. Солнце тепла не жалеет, льет его щедро на холмы, овраги, лога. Земля в травах, в цветах, даль зыбким маревом затянута.

Тяжесть на Хансулу навалилась необыкновенная, прилегла она, коржун под голову положила. Тотчас провалилась в сон, ни о чем подумать-то не успела, только печально выдохнула: «Уф!»

5

За несколько часов Пахраддин с Сыргой прошли немало. Небо закрыли тучи, дорога под ногами угадывается с трудом. К полуночи уперлись в такыр, тропа исчезла, будто ее и не было. Сбились, видно. Останавливаться не стали, продолжали путь в направлении, в каком шли. Когда забрезжило, впереди миниатюрный лужок открылся, густо поросший кустами с мелкими узкими листьями, на кончиках они закручивались в колечки. Расстелив одеяльце, передохнули на лужайке, а когда солнце поднялось над землей на длину лошадиных пуг, перебросив через плечо коржун, двинулись дальше.

К полудню на невысокий бархан с караганником и столетником набрели. Между кустарниками Пахраддин ростки дикого лука увидел. Замаявшись, приостановился.

– Что, мой сокол? – спросила выбившаяся из сил Сырга.

Пахраддин смотрел на далекий, окутывавшийся дымкой горизонт.

– Ух! – выдохнула Сырга, валясь на мелкий песок.

– Гм-м, Создатель... – Пахраддин погладил ладонью усы. – По моим расчетам, мы должны были пройти Есек-олген и быть уже рядом с саем Жидели. Но где лощина? В тех местах не должен быть такой бархан... Как это так? Астафиралла!

Сырга, не в силах говорить, головой к коржуну прислонилась, смежила веки. Пахраддин, не веря себе, на бугор повыше взобрался, оглядел округу, уже потонувшую в мареве. Досада какая! Напрасно они ночью двигались. Днем разве сошел бы Пахраддин с тропы? Даже идя по бездорожью, не должен был он так сильно в сторону уклониться. Иль привиделось что ему, что заплутал так? Может, когда вздремнули перед рассветом, он, в помутнении, в другом направлении пошел? Не поймет ничего Пахраддин. Что он Сырге-то скажет? Какими глазами на нее посмотрит, когда открыться придется, что они заблудились? Этого им только не хватало...

6

Хансулу начала уже терять веру в то, что они когда-нибудь набредут на человеческое жилье. Дорога всё не кончалась. Вымотала душу она ее.

– Детка, ты идешь? – спросила Дау-апа. Она, как всегда, впереди.

Солнце движется через западную половину неба, повсюду частоколы тальника, тамариска, чия. Между ними и петляла, убегала вперед тропа.

– Детка, ты видишь, а? Мы вроде уже недалеко от людей.

Хансулу подняла голову, перевела дух. Впереди, по правую сторону от дороги, далеко-далеко дом стоял, его стены наполовину обрушились. И в стороне – стены обвалившиеся.

– Прислушайся-ка!

Прислушалась Хансулу. Где-то далеко-далеко кричал ишак. Дивной мелодией показался ей этот крик.

Когда солнце клонилось к закату, возник город, расстояние до него было в один перегон отары. Струились дымки из множества труб. Это был Конырат. Они смотрели на него с высокого, окруженного тамариском бугра. Обессиленной голодом и дорогой Хансулу Конырат, раскинувшийся вдали, показался невообразимо большим. Взглядом его не охватишь. Один большой дом рядом с другим, да как их много! В глазах пестрело от необыкновенного скопления крыш. Для Хансулу, которая видела город впервые, Конырат предстал чужим, неведомым ей миром.

– Город-то город, но только никто не ждет нас там с распростертыми объятиями, – сказала Дау-апа хмуро и начала зачем-то спящего на спине Едиге укачивать.

«Еще бы... – подумала Хансулу. – Если бы кто нас ждал. Так и знала... Только зачем мы так стремились в незнакомый город?»

– Чужой город... Не станем ночью мотаться там... Воров, я слышала, много нынче, да и голодных, таких как мы, хватает... Во-о-он, – Дау-апа кивнула головой куда-то на запад. – Мазар, видишь? Даут-ата там покоится. Там есть место для ночлега. Пойдем туда.

Кладбище на одном из ближних мысов Устюрта. Квадратные сооружения с каменными овалами по углам купаются в багровых закатных лучах солнца.

– Слышала ль ты, детка, не знаю, но склеп, к которому мы идем, тоже нашему знаменитому предку принадлежит, святому батыру Дауту, – сказала по дороге

Дау-апа. – Сначала Барак. От Барака – Асау, от Асау – Даут. Поняла? Народ говорит: дух батыра Барака в сына Асау вселился, а потом во внука Даута. Вот и помолимся духам предков. Помогут, может...

Голос Дау-апа, прерванный спазмом, задрожал.

Предложение Дау-апа понравилось Хансулу. Уж если есть духи, готовые выслушать ее, так она обо всем им расскажет, много горечи скопилось в сердце...

На невысоком отлогом увале склеп. С вечерними сумерками и подошли они к нему. Множество квадратных надгробий с четырьмя ушками по углам, огороженных большими валунами, с различными узорами и росписями. На огромном кладбище сумрачная тишина, проникая в душу и пугая ее, она незримо витает во мгле.

На западном склоне холма – глинобитная мазанка с дерновым покрытием вместо крыши. Правду сказала Дау-апа, дом пустой, заночевать в нем можно. Дверь снаружи лопатой подперта. Для прихожан, видно, дом, для богомольных, кто духу предков приходит поклониться.

Ребятишек на землю спустили, со вздохом освободились от поклажи. Дети с удивлением осматривали незнакомое место. Дау-апа заметно оживилась.

– Ну вот, детишки, – сказала, – и домой пришли!

Она взялась за лопату, подпиравшую дверь, да тут что-то захлопало-затрещало по крыше, над самой притолокой двери. Птица, шелестя крыльями, нырнула в тень, пропала.

– Тьфу! Тьфу! Тварь божья! Сплюньте, милые, если напугались, с глаз долой и из сердца вон.

Дверь со скрипом и визгом распахнулась, открылся зияющий черный проем, туда и Дау-апа не решилась шагнуть.

– Э, да уж быть мне жертвой! – проговорила она. – Священные птицы, сказывали, в таких местах обитают. Эта, поди, из них. Бисмилля! – и шагнула через порог.

Все-таки Дау-апа отважная женщина! Хансулу стояла в стороне, крепко держа за руки детишек, страх и надежда боролись в ее душе. Ветер постепенно усиливался, тучи заволакивали небо, как бы дождь не пошел...

Дау-апа искрой из кресала осветила на миг помещение и радостно воскликнула:

– Э, слава тебе, господи, так и есть, так и есть! Живем! Хансулу! Иди, детка, сюда!

У Хансулу затрепыхало сердце. Голос у Дау-апы такой, будто она дастархан, полный еды, обнаружила. Хансулу устремилась на зов, потащила волоком детей за собой. Но, кроме Дау-апы, зажегшей керосинку у порога, ничего, что порадовало бы глаз, не увидела в полутемном доме. Хансулу искала дастархан, хлеб.

– Видела лампу? – ликовала между тем Дау-апа, кивая на керосинку.

На полу – старая камышовая подстилка, на ней два текемета¹, поближе к двери – казан, кумган.

– Бисмилля! – произнесла Дау-апа и подняла крышку казана. Вгляделась. – Э, вон и вода, детка! – обрадовалась она.

Но Хансулу другого ждала. Хлеба. Есть ли в этом доме хлеб? Вот что ей хотелось узнать. Хлеб и только хлеб искала она. Одно-единственное чудесное слово хотелось бы ей услышать: «Нан²»...

¹ Текемет – кошма с аппликациями.

² Нан – хлеб.

Понимала Дау-апа, чего хотелось Хансулу, блуждавшей глазами по комнате, малышам, не сводившим с нее голодных взглядов. Вблизи от жилья, от людей голод еще острее, еще нестерпимее. Понимала это старая женщина и потому все углы обшарила – на всякий случай; вместе с ней от стены к стене двигалась ее огромная тень.

Дети потеряли терпение.

– Что ты ищешь, аже? Нан? – спросил Едыге.

– Терпение, терпение, детки! – ответствовала Дау-апа. – Сейчас разведем огонь... Ой-хой! Чаю вскипятим, ой-хой! Чаю горячего попьем!

Бодрым голосом Дау-апа подбадривает семью, вселяет в нее дух. Шаркая, она вышла с кумганом в руке, направляясь к очагу во дворе. Маленький узелок с жареной пшеницей был у нее. Не говорила она никогда, сколько ее там. Рачительна Дау-апа, но, по расчетам Хансулу, как раз сегодня и должна была она закончиться. С чем они будут пить чай? Загадка. Однако вид Дау-апы всё-таки вселял надежду. Колдует у очага, словно непременно к ужину что-то съестное будет.

Расфыркался на огне черный кумган.

– Кипит! – подалась к старухе Хансулу.

– Кипит! – подтвердила Дау-апа. – Неси-ка его, детка, домой!

Хансулу тряпкой подхватила кумган, унесла. Однако не черный кумган был нужен Хансулу. Чем Дау-апа голодных ребятишек потчевать собралась? Вот что ей хочется узнать. Унося дымящий прокопченный кумган, она всё оборачивалась, искала что-то взглядом. В темноте, возле огня очага Дау-апа все копошилась, что-то разворачивала.

– Нан!

– Нан! – разверещались малыши, завидев Хансулу с кумганом.

– Терпение! Терпение! – жестким тоном Дау-апа прервала их.

Хансулу на очаг поглядела. Если Дау-апа не сотворит сейчас какое-то чудо, они, сорванцы, по частям ее разнесут, с потрохами съедят. Чтобы как-то их занять, она достала пиалу, поставила на дастархан, другую достала, третью. Бросила в кумган щепотку соли.

Снаружи слышались удары:

– Дурс-дурс...

Мальчишки, зачарованные, смотрели на дверь. Кроме пиал, нечего ставить на дастархан. Хансулу смешалась, не в силах глядеть на голодных детей, отвернулась от них. Порыв ветра взметнул пыль перед самым порогом. И следом показалась Дау-апа в топорщащемся на ее голове грязном жаулыке. Узелок в руке. Не тот, к которому они привыкли, другой. «О алла!» – пронеслось в голове Хансулу, и она закрыла в изнеможении глаза, земля, показалось, качнулась под ней. Дети тянули шеи, во все глаза глядели на узелок – вот-вот взлетят.

– Бисмилля! Ну вот... – сказала Дау-апа, присаживаясь у края дастархана, и развернула старый платок. Это был курт¹, белый-белый, раздробленный на кусочки.

– Положите на язык, пососите, нет лучше еды. Только не спешите.

И всем по кусочку с ноготок раздала. Накинулись дети на курт. «Чаем» не забывают его запивать. Нет-нет да и поперхнутся.

¹ Курт – сушеный сыр.

– Кому сказала – не спешите! Сосите и запивайте!

Сдобренный солью кипяток давал особый привкус медленно тающему на языке твердому кусочку курта. Эх, что за напиток горячий чай, сдобренный щепоткой соли, подслащенный таящим на языке куртом, живительный вкус растворялся в гортани, исподволь питая все тело, добираясь до глубинных жил и клеточек организма. Лоб взмок, пот проступил. В глазах немного прояснилось, и в голове какое-то просветление наступило. Хансулу показалось, что никогда в жизни такого вкусного курта не ела. словно лилось по горлу густое парное молоко, словно вкушала она райскую пищу.

После принятой пищи почувствовалась неодолимая усталость: набрякли веки, отяжелели руки и ноги, заныли натруженные суставы. Земля так и потянула к себе вниз. Хансулу, обняв сосавшего пальчик малыша, упала на камышовую подстилку, где сидела. Веки сомкнулись сами собой. словно придавленная свинцом, медленно погружалась она в темное состояние, когда осознавать что-либо уже никаких сил нет, тем более – думать, откуда идешь, где находишься, куда отправишь стопы свои завтра... Дау-апа встала и прикрыла дверь.

7

Открыла Хансулу глаза и видит: лежит она в старой, заброшенной хибаре с насквозь прокопченными стенами и потолком. От утренней свежести в доме прохладно. Съезжился во сне худенький Тугелхан, одежда на нем немислимого цвета, до того грязная. К нему Едиге приткнулся, тоже чумазый. Больно на ребятишек, таких неухоженных, глядеть. Дау-апы на месте нет.

Вышла Хансулу, а Дау-апа на коленях перед мазаром Даут-батыра сидит и суру из Корана читает. Хансулу присела рядом. Обе, глядя на восток, в сторону проступающего утра, обряд поклонения духам предков исполнили. Проведя руками по лицам, встали.

Они посмотрели на Конырат, который отсюда, с холма, как на ладони виднелся. Город еще спал, но везде уже наперебой кричали петухи. Пространство перед глазами заполнено несметными, теснящимися глинобитными строениями, между ними зелеными островками темнели тутовые деревья. Между городом и холмом небольшая равнина, ее пересекает множество тропинок. Белыми проплешинами лежали такыры.

– Ну, дочка, вверим себя единому богу. Трогаемся! – сказала Дау-апа, не отрывая глаз от предутреннего города. – Пока дойдем, и рассветет, и солнышко встанет...

Взвалив на спину полусонных ребятишек, подобрав узлы, двинулись женщины по утренней зорьке к городу. Пока добрались, из-за горизонта солнце выплыло, щедрое оно народилось, лучистое. Там и сям люди на улицах показались, двинулись пешеходы, город начинал свою суетную жизнь. Лаяли собаки, мычали коровы, ревели ишаки. Тощий старичонка в папахе на скрипучей арбе вез сено; ишак, впряженный в арбу, такой же дохлый, как и его хозяин. Шумливые молодые женщины в каракалпакских платках-орипеках за город уходили, кетмени у них на плечах. Бригада, наверное, идущая на работу.

– Ну, детки, вот мы и в Конырате! – проговорила Дау-апа. – Сейчас на базар пойдем. Ну-ка, сами теперь давайте ножонками!

Приободлив детишек, она опустила на землю Едыге, а Хансулу – Тугелхана.

Малыши, глаза на диковины города, увлеченные его видом, мало-помалу шагали себе. От прошедшего ночью дождя земля была влажной, она источала теплый запах почвы.

Они вошли в узкую улочку, с двух сторон ее теснили глинобитные длинные дувалы. Хансулу словно оказалась в каком-то сказочном мире. Все дома здесь прятались за глинобитными стенами. Над очагами курились дымки. «Вот он каков, город!» – думала она, боязливо озираясь по сторонам. Дау-апа, как выяснилось, была раньше в Коньрате на базаре, правда, это было давно и всего один раз. У Хансулу вскоре закружилась голова. Если бы не Дау-апа, пропала б она в этом столпотворении! Сколько народу! Вон те женщины в орипеках – каракалпачки, а эти, накрытые чапаном так, что лица не видать, должно быть, узбечки.

Так и шли они, всё примечая по сторонам, когда вдруг в нос неожиданно-негаданно запах печеного хлеба ударил. О Создатель!.. Запах горячего хлеба, только из печки, ударил в ноздри!

– Нан?!

– Апа, нан? – расшумелись наперебой ребятишки.

В той стороне, откуда шел запах, валил из-за дувала дым. Обезумели мальчишки. К дувалу помчались – так овцы, за зиму отощавшие, к сену несутся. Не поспела Дау-апа за мальчишками, отстала. Первым Едыге до ворот добежал. В щелку заглянул. И Хансулу заглянула. Не ошиблись они. Молодая каракалпачка, орипеком покрытая, вынимала из круглой тандырной печи румяную лепешку, которую на деревянное блюдо опустила.

– Нан!

– Апа, нан! – распищались опять дети.

Дау-апа подросла.

– Отойдите! – потребовала она и загремела в калитку кулаком. – Здесь, что ли, хлеб пекут?

– Здесь, здесь, – отозвалась Хансулу.

– Во-он, – показал пальчиком в дырку Едыге.

Калитка открылась. Высокая смуглая каракалпачка, наполовину просунувшись в дверцу, поглядела на них настороженно.

– Доченька, вижу я, ты – мусульманка, уважь... Продай хлеба! – сказала Дау-апа и сунула ей в руки мятую, измусоленную вконец денежную бумажку.

Замешкались женщина от неожиданности, глядя то на деньги, то на детей, хлопавших глазенками.

– Бога ради, доченька! Продай хлеба! – взмолилась Дау-апа.

– Яхшы! – бросила женщина по-своему, что значило: «Хорошо». Сняла полотенце с блюда, отдала им лепешку.

– Ну, детки, пошли! В сторонку отойдем! – объявила Дау-апа.

Дети со всех ног кинулись за ней. Все четверо устроились под дувалом. Дау-апа лепешку на две, потом на четыре части разделила.

– Мне!

– Мне! – визжат мальчишки. Им дела нет до людей, проходящих мимо. Они уминают за обе щеки мягкий, еще горячий душистый хлеб.

Не думала в ту минуту Хансулу, что вкус горячего хлеба, который она ела на улице под чужим забором, запомнится ей навеки. Не пробовала она, кажется, ничего вкуснее. Мягкий, податливый хлеб таял во рту. Удивлялась Хансулу, что не

уяснила для себя одной-единственной великой истины: уж коли лежит на твоём дастархане вот такая румяная лепешка, то все превратности судьбы уже ничего не стоят! О Создатель, почему она не понимала этого раньше!

Дети, конечно, не насытились кусочками, которые получили, и, облизываясь, снова заканючили. Хансулу и Дау-апа, переглянувшись, отдали им то, что сами не доели.

– Давайте, детки, трогаться! – со вздохом сказала Дау-апа.

Отряхнув вещи от пыли, женщины взвалили их на себя, пошли той же улицей дальше. По дороге спрашивали у встречных, где базар. Улочка была извилистая, тесная. Народу много, на ишаках большей частью едут. Всем на базар надо: кто барана гонит, кто козу. Чем глубже в город, тем больше всяких запахов...

Стали и степные казахи попадаться, такие же истощенные, как и они; иные ослабевшие взрослые сидели на земле, прислонившись спиной к дувалам, а их дети у прохожих выпрашивали милостыню. Встречались и такие, что валялись бездыханными. Дау-апа набожно шептала что-то.

Они влились в большую толпу и дошли до базара. Кругом шум, гвалт, разговоры, суды-пересуды, кто-то продавал, кто-то покупал. Крепко ухватили женщины малышей за руки, в самой толчее пробирались. Оглушали разноголосые выкрики:

– Берите тушпару! Горячая тушпара! Берите!

– Айран! Кому айран! Подходите!

– Берите самсу! Горячая самса!

– Хлеб кукурузный! Кукурузный хлеб! Налетай!

Едыге и Тугелхан застряли возле женщины, которая самсой торговала. Не утянуть их.

– Аже, нан! – наперебой твердили они.

– Ну, вот что, миленькие, – заявила тогда Дау-апа, – денег у меня больше нет. Понятно? Кончились. Только если бы...

Поняла Хансулу, на что Дау-апа намекала, – дескать, самое время выкладывать и тебе денежки, однако у Хансулу не было ничего, кроме золотых серег в ушах да массивного серебряного браслета на руке. Отвела она старуху в сторону, сняла серьги, в ладонь ей вложила.

– Продайте, апа! Купим хлеб и что-нибудь еще.

– Денег нет, что ли? – Дау-апа озабоченно смотрела на серьги в своей большой ладони. – Ну, пошли! Цену сначала узнаем...

И они направились к вещевому ряду.

– Повезло нам – базарный день, – сказала Дау-апа. – По сторонам гляди, может, кто знакомый встретится.

Казахи в верблюжьих чекменях и мерлушковых шапках, торговавшие дровами, не были им знакомы. Их верблюды лежали рядом. Дау-апа спросила о том и о сем у красноглазого, желтолицего толстяка. Тот, держа насыбай под языком, зашепелявил:

– Ой-бу, предки мои!.. Из того аула, говорите? Ой-бу, напали в пешках башмачки?.. О-о, поэтому голодали, говорите... О-о, не приведи бог! Ты, мать, на берег штупай, Ашылбеков там, из Кажакштана... Вот так, мать!

– А как пройти туда, на берег?

– Ойбай, предки мои, так вон он, вон! Штупайте пъямо-пъямо...

Тут чей-то вопль раздался:

– Милиса-а! Милиса-а! Вай-вай!

– Милиса! Милиса!

Весь базар многоголосым «милиса» разразился.

Хансулу, засмотревшись на шепелявившего казаха, не заметила, как ускользнул Едыге – только ведь, шельмец, рядом торчал. В толпе, откуда вопли неслись, женщина, что самсой торговала, держала за руку мальчонку. Дау-апа вскрикнула:

– Ойбай-ай, да ведь это мой! Дочка, как ты его потеряла?

С этими словами она кинулась в толпу. Хансулу за ней устремилась. Торговка крепко держала Едыге. Народ уже возле нее собрался.

– Сдать его надо!

– В милису шпану! – раздавалось на местном наречии.

– Много воров нынче развелось! – орал пухлый торгош, встопорщив усы, махая руками.

Едыге верещал как зайчонок.

Рослая Дау-апа, растолкав всех, грозно нависла над торговкой:

– Пошла ты прахом, стерва, отпусти мальчонку!

Толстопузый пухляк с торчащими в разные стороны ушами преградил ей дорогу, крича:

– Ни! Ни! Нильзя! В милису таких, в милису!

– Да пропади ты, пошел с дороги!

– Ни! Нильзя! Милиса! – продолжал вопить толстопузый и толкнул старуху в живот изо всей силы.

Этого было достаточно, чтобы Дау-апа врезала ему своим кулачищем по уху – торчащему, красному:

– На тебе милису!

Лопоухий в три погибели скрючился на земле. Чалма с головы полетела. Все, кто за этим наблюдал, так и покатались со смеху. Торговка, испугавшись разъяренной старухи, отпустила Едыге. Тот, разревевшись в голос, спрятался в широких бабушкиных объятиях.

– Не надо, родненький, не надо! – успокаивала она его, прижимая к груди. – Не реви! Наревешься еще!

Поднялся поверженный на землю торгош. Чалму отряхнул.

– Вай, убьет ведь этак, а? – произнес он, красный от стыда.

– Вай, где милиса? – подхватила в тон ему торговка.

– Здесь милиса! Это я – милиса! – послышался тут чей-то голос, и из толпы выступил среднего роста светлицый мужчина в черной кожаной кепке. На нем был черный кожаный плащ. Увидев идущего к ней солидного человека, торговка растерялась.

– Сколько он у вас съел пирожков? – спросил он и полез в карман.

– Да маленький съел. Совсем маленький – одну, – затараторила та испуганно.

– Вот деньги. И давайте еще восемь.

Женщина, заполучив деньги, засуетилась, стараясь угодить важному государственному лицу. Его сопровождали два красноармейца, они тоже подошли. Мужчина всю оставшуюся самсу сложил в газетный кулек и отдал их мальчишке, сидевшему на руках бабушки, все еще всхлипывающему.

Изумились базарные зеваки. Не меньше были удивлены и Дау-апа с Хансулу.

– Пойдемте со мной, апа! – позвал человек в кожаной кепке и плаще и сам первым пошел с базара.

Два красноармейца взяли вещи у Дау-апы и Хансулу.

– Откуда вы, апа? – спросил светлолицый джигит с карими глазами в плаще.

– Э, сынок, трудно сказать, откуда мы, – разговорилась та. – Из каллектепа сбежали. Потом басмачи ограбили. А сейчас мы бродяги, сынок, скитаемся...

– Так мы и думали, апа. Эти джигиты доставят вас сейчас на берег. Там еда и кров. Не возражаете?

– Да что ты, голубчик, зачем же возражать? Если еда, если дом, зачем возражать?

Две упряжки стояли на улице. В одну женщин с детьми посадили, на облучок молоденький красноармеец взобрался, усики у него только-только пробивались. Оказавшись в арбе, женщины не хуже мальчишек на кулек набросились. И слова не проронили, пока ели. Только когда кулек опустел, Дау-апа и спросила у красноармейца:

– Сынок, как этого господина зовут?

Красноармеец усмехнулся:

– Мать, этот «господин» – Абдолла Асылбеков. Секретарь КазЦИКа. Из Алматы.

Арба уже выбиралась на солончак в северной части города.

– Кто бы он ни был, – заключила Дау-апа, – быть мне жертвой за него, добрый он человек, сердечный...

Джигит пояснил:

– Недавно, во времена перегибов, многие с казахской земли бежали, вот как вы. И сегодня продолжают бежать от голода. Мы приехали специально, чтобы собрать и вернуть беглецов на родину.

– Э-э, правильно это, сынок, – закивала головой Дау-апа.

Хансулу уже умиротворенно взирала на мир, залитый солнечным светом: на тamarисковые рощицы, гладь ухоженных полей, глинобитные мазанки посреди тутовых деревьев. А только что на базаре, когда с Едыге случилась беда, она была в другом состоянии: будто свет сгинул навсегда и с увядшей душой упали они в зиндан, откуда им не выбраться, будто не быть им теперь людьми. И вдруг чудесная сила взяла да и вырвала их из пучины, в которую они падали... вытащила на белый свет, на солнце.

Дау-апа по обыкновению стариков начала было расспрашивать возчика про людей на берегу, называла чьи-то имена, не встречал ли их тот, но красноармеец только головой качал.

Впереди завиднелась серая, сливающаяся с горизонтом водная гладь.

– Это и есть благословенная Амударья? – спросила Дау-апа, взглядываясь вдаль.

И она, и Хансулу видели реку впервые.

– Что это? – заволновались дети, высовываясь за борта брички.

Хансулу пояснила:

– Река, – и сама удивилась: – Почему она такая серая?

– Не вмещается она в свои берега, смывает глину, вот и мутная, – предположила Дау-апа.

Уходящая широким руслом до самого горизонта, могучая река поразила их своим суровым видом. Мутные пенистые волны накатывались одна на другую, тесно было им в глинистых берегах; они, кажется, и вздыхали по этому поводу,

как живые. Размеры водного пространства пугали, и даже просто глядеть на реку было как-то боязно.

– Апа, – сказала Хансулу, зябко поеживаясь, – там на базаре, когда вы схватились с торговцем, человека я одного увидела в толпе...

Дау-апа вперила в нее глаза.

– Лабак-ахуна я увидела с посохом в руке, ну прямо как дервиш с виду.

– Э, детка, не удивляйся. Если ворон сейчас сокол, то ахун дервиш... Чему удивляться-то? – Дау-апа вздохнула. Морщины на лице углубились. – Ты о нем говоришь. А я увидела нечто ужасное. На базаре, о господи, родители, отец и мать, дочь свою юную продавали. Степные казахи, э-э, как мы...

Замолчала Дау-апа. И Хансулу примолкла, точно язык проглотила.

На берегу завиднелось пестрое поселение, стан за станом, дымные костры. Женщины в белых жаулыках мелькают, дети босоногие носятся. Их арба остановилась на пологом участке побережья, где густо произрастали каратал, шигилдик, дикий лен. Здесь уже три юрты стояли, драные, правда, и с десяток брезентовых палаток. Чайники, ведра над костром, еду люди готовят – время обеденное; женщины что-то режут, крошат, мужчины дрова рубят.

Первыми их детишки окружили. Потом, побросав дела, женщины примчались. Возгласы посыпались:

– Ойбай, да это же Дау-апа!

– Как добрались-то?

Дау-апа, сойдя с телеги, поинтересовалась:

– Сами-то живы-здоровы?

Потихоньку и мужчины подошли, в глаза не смеют смотреть, смущенно отводят взгляды. Женщины знай себе стрекочут.

– Ойбай, а где же бий ага? – спохватилась одна из них. Бий – это Пахраддин.

– А Балкия нашлась?

– Э, дорогие мои, что спрашивать? – тяжело вздохнула Дау-апа, расправляя поясницу, выпрямляясь в полный рост. Насупилась. – До семидесяти дожила, а много еще, получается, не видела на белом свете! Уф... Сучку эту – Балкию Пахраддин пошел искать, да занедужил... Там, на дороге, остался. Живой он или как – не знаю. Сырга с ним. Вот с этими двумя, – на ребяташек показала, – как собаки, дотацились мы. Бог подсобил, с государственными людьми свел...

Потом под открытым небом расстелили дорожки, сырмаки, кошмы. Дау-апа и Хансулу как почетные гости во главе дастархана устроились. Рядом по кругу старики разместились. Проворные женщины дастарханом занялись. Кулзипа чашку жареной пшеницы на него высыпала. Катира расторопно сахару наколола.

Хансулу поняла, что в народе, расположившемся на берегу реки, есть особые люди, которых она не знает. Их не было за дастарханом. Они поставили свои палатки отдельно, соорудили очаги и вели свою обособленную жизнь. По пути сюда, как услышала Хансулу, скончались от голода старая мать Катиры, четверо малышей, среди них – трое сыновей бедняка Майлыбая...

Те из аульчан, что оказались здесь раньше, уже и сил набрались. И разговоры у них другие, и голоса погромче. Про судно какое-то толкуют, паромом называют – вот-вот придет. Сегодня его ждали. Представители из Казахстана на этом пароме до станции их доставят, чтобы потом на поезде до города Аулие-Ата довести. В Аулие-Ате их по окрестным колхозам должны развезти. Такие вот были новости.

– Э-э, лишь бы не голодать, пусть везут, – удовлетворенно кивали старики.

После обеда усталая Дау-апа прилегла отдохнуть. Хансулу с ребяташками пошла к реке. Берег обрывистый, высокий, с человеческий рост. Вода внизу звучно бьется об обрыв. Течение стремительное, вблизи жутко на него глядеть, голова кругом идет. Вода ошеломляет, в некоторых местах она закручивается воронками. Щепки, которыми кидаются мальчишки, кружатся, кружатся на месте и потом ныряют в пучину. Удивляется Хансулу, откуда столько воды? Далеко-далеко, где-то у противоположного берега, лодка, а в ней силуэты двоих людей. Глядя на лодку и на этих двоих, Хансулу расплакалась. Про отца и мать вспомнила. Что с ними? Живы ли? А может, давно уже где-нибудь под каким-нибудь кустом добычей для воронья стали?! О боже, сохрани, спаси их! О боже, что с ними?.. О-о, жизнь, жестока ты!.. Насытилась, набила утробу, обрадовалась... За дастарханом забыла обо всем, обо всем мире, мысли были только о еде. И в это время ты ни разу не подумала о несчастных родителях, оставшихся на полдороге. И только теперь, насытившись, ты вспомнила их. О, жестокая жизнь! Не помутился ли разум твой, когда покинула их? Навострилась куда-то, оставив отца и мать в неизвестности? Как она в эту Аулие-Ату поедет, не узнав, что с ними?!

– Апа, что делать-то? – теряя терпение, сказала Хансулу.

– Спокойствие, детка, спокойствие. – Дау-апа нахмурилась, думая о чем-то своем. Она смотрела на солнце. Оно клонилось к горизонту. Казалось, мужественная, волевая старуха, испытавшая в жизни все, намеревалась найти для Хансулу выход и в этой ситуации.

Дети, игравшие на берегу, дружно расшумелись:

– Паром! Паром!

– Алакай¹, паром!

Как бы в ответ на радостные детские возгласы паром издали дал протяжный гудок. Восхищенные мальчишки разгалделись еще сильнее.

Судно поднималось с нижнего течения реки, выросло в размерах, черные клубы дыма окутывали его. Приходилось ли Дау-апа видеть паром, неизвестно, но Хансулу с ним столкнулась впервые, она не отрывала глаз от судна. Паром шел против течения. Хансулу показалось, что если она уедет, то больше никогда, никогда не увидит ни своих родителей, ни Шеге. Будто унесет ее на самый край света. Аулие-Ата и край света разве не одно и то же?

– Апа, не поеду я никуда! – заявила она.

– Ойбу, детка, я о том же думаю! – сказала Дау-апа.

8

В сумерках началась посадка. Настоящее название судна было – баржа, она тихо покачивалась на волнах. Настолько большая была баржа, что загружались аул за аулом, да еще и со скотом – и все равно еще место оставалось. Сначала взошли на нее красноармейцы Асылбекова и всё проверили. В это время наступил вечер. Люди на берегу с тюками и узлами стояли наготове, ждали приказа. Дау-апа и Хансулу тоже упаковались, якобы в дорогу собрались. На деле они выжидали удобный момент, чтобы в суматохе уйти в густые заросли. Момент наконец выдался.

Перекрывая людской шум, прогремел приказ:

– Начинай посадку!

¹ Детский возглас восхищения, восторга.

Что началось! Народ с настила к трапу кинулся, люди полезли напролом, один другого толкал, давил, никто никому не уступал дороги. Что-то кричал красноармеец, да кто станет слушать его в такой давке? На помощь солдату еще трое подбежали, чтобы преградить народу путь, однако толпа напирала, точно неразумное стадо.

– Порядок, порядок соблюдайте! – едва слышалось сквозь плеск волн и галдеж толпы.

Как выяснилось, причиной беспорядка стал слух, будто тех, кому на этом судне не достанется места, оставят на берегу до следующего рейса. А следующая баржа повезет людей в холодные края. Кому на холод охота? Поэтому, невзирая на давку, лавой хлынул народ на борт.

– Детка, удобнее момента не будет! – пробасила Дау-апа.

Обе, пятясь, стали отступать, пока разом в густые кусты не вошли. Белые жаулыки они еще до посадки в коржун попрытали, чтобы внимания не привлекали. Дети сидели на спине, узлы они держали в руках. Прямоком через камыши и лен двинулись на обгаренный закатом запад. Со страху им чудилась погоня, потому петляли среди густых кустарников по бездорожью. Молчали. Едыге расхныкался было: «Аже, а почему не на паром?», так Дау-апа прикрикнула на него: «Заткнись!» – и больно еще по заду хлопнула.

Бежать с детьми да с еще узлами было тяжело, женщины облились потом. Дау-апа уже дышала с хрипом, но остановились тогда только, когда ощутили, что ушли на безопасное расстояние.

– Уф! – выдохнула Дау-апа.

Лён, высотой в человеческий рост, укрыл их. Тяжело дыша, вытирая пот, оглянулись, но что можно увидеть сквозь дремучие заросли? Со стороны берега, откуда они ушли, доносился невнятный гул, гомон, приглушенные крики людей, поднимающихся на баржу. Далеко-далеко рванулся алый всполох.

– Вот тебе и на! – всполошилась Дау-апа, глядя на нижнее течение реки, откуда мрачно ползли тучи. – Как бы дождь не пошел, чтоб он пропал, окаянный!

Как бы в ответ загудел северный ветер, волной пробежался по верхушкам льна. Хансулу всё еще не могла отдышаться. Сердце рвалось из груди, колотилось оно, горький пот заливал глаза. Она всё вытирала и вытирала лицо. Гладила по головке Тугелхана. Смешной он, стоит перед ней, ножки широко расставил. Нет у малыша забот, когда рядом мама. Знал бы Шеге, что сейчас его Хансулу и Тугелхан в кустах, горемыки, отсиживаются, как бродяжки. Не знает этого Шеге. Не знает, что его жену, сына как перекаати-поле по жизни носит... Шеге! Где ты? Далеко, наверное. Примчался бы сюда, коли мог. Хорошо, если им суждено еще когда-нибудь встретиться. А если не суждено? Если эта разлука так и останется разлукой: он – в одном конце мира, она – в другом?.. Эта ужасная мысль молнией пролетела в голове. Пронеслась, словно предупреждая об опасности брэнного мира, словно прошептав о бедах суровой реальности.

Теперь перед Хансулу и Дау-апа стояла задача – добраться до Конырата и найти каракалпака по имени Шамурат, старого приятеля Пахраддина.

Мгла сгустилась до полной тьмы. Они едва различали землю под ногами, ветер подталкивал в спину. За горизонтом давно уже сердито погромыхивал гром. Похоже, дождь будет. И вдруг с оглушительном громом расколосось небо. Ох и испугались они!

– Бисмилля!

– Бисмилля!

– Жалко, до города не дошли, а уже дождь, – проговорила Хансулу, еще более согнувшись под тяжестью мешка.

– Э, что он нам сделает? Дождик-то весенний.

На солончаке, по которому они шли, пробивался мелкий тростник. Шурша, он бился под ногами, мешал идти.

– Детка, глаза у тебя молодые, погляди-ка, что впереди темнеет? – спросила Дау-апа, вглядываясь в горизонт.

Начался дождь. Хансулу опустила мешок, присела, всматриваясь в то, на что Дау-апа показала.

– Большое дерево и что-то рядом, не то стена обвалившаяся, не то...

– Всё равно, – подхватила обрадованно Дау-апа. – Под деревом и укроемся. А то детишек еще застудим.

Пошли к дереву. Дау-апа, чтобы скоротать дорогу, начала рассказывать о себе, про свою бедовую жизнь, в которой было много таких ночей с дождем, бурей, со снегом, да и много других мытарств... Чего только ей не пришлось не увидеть в этой жизни...

– Много раз в степи безлюдной одной ночевать приходилось! – сказала она.

Пока Дау-апа говорила, стемнело, и в полной тьме подошли они к мрачному шатру дерева. Оно оказалось тутовником. Рядом чернели обвалившиеся стены глинобитного домика. Только они под дерево залезли, дождь изо всей силы захлестал. Женщины накрылись одеялами, детей, обернув в телогрейки, к себе прижали. Гром еще несколько раз сотряс округу и стих. Какой потом ливень обрушился на них! Всё пришло в движение: шелестели, шептались листья тутовника, прыгали в лужах дождевые пузыри. Ветер принес удивительный аромат свежести. Они некоторое время молчали, внимая голосам могучей стихии. Ливень не переставал. Дети расхныкались, прося есть. Так и поужинали они – под одеялами, уминая куски вкусного пшеничного хлеба. Насытившись, малыши начали подремывать. Как ни густа была крона тутовника, дождевые капли, шлепая по влажным одеялам, начали их доставать. Одеяла тяжело намокли. Хансулу еще теснее прижала к себе мальчика.

– Как ты там? – спросила Дау-апа.

Она лежала спиной к Хансулу. Едыге, надежно защищенный ее большим телом, и не слышал, наверное, непогоды.

– Капает, – ответила Хансулу.

– Потерпи, милая, что делать?.. Пусть немного рассветет. До тех пор, может, и распогодится. Постарайся уснуть.

Изнемогающая от усталости Хансулу не заметила, как уснула. Пробудилась от ледяной воды, попавшей за шиворот. Вскочила, вытрясла волглое одеяло. Подол, правое плечо и правая лопатка промокли насквозь. Дождь стих. Укутав поплотнее сына, она вновь прилегла, что же делать... Теперь не спалось. Влага, просочившаяся сквозь одежду, холодила тело; дрожала Хансулу. Дау-апа, коротко всхлипнув во сне, пробормотала:

– Жеребеночек мой!.. Уф!..

И тяжелый, томительный выдох. Милая Дау-апа! Все свои печали, получается, ты носишь в себе... Булыша вспомнила, жеребеночка своего. Бедная мать!..

Тихо лежит Хансулу, пусть-ка Дау-апа поспит. Но нет – поднималась уже Дау-апа, повязывала на голову жаулык, протирала глаза. И дождь, оказывается, прекратился. Сипло прокашлялась Дау-апа, позвала:

– Хансулу!

– Ау! – откликнулась та, поднимая голову.

– Идти надо. Рассвело.

Связав узлы, полусонные, взвалив на спину детей, пошли они. Грязь на земле трава мокрая, идти трудно. С восходом солнца путь им преградил большой сай. За ним виднелся и город.

– Смотри, дочка, вода идет по дну! – Дау-апа остановилась.

Вот это да! Воды на дне оврага и в самом деле было хоть отбавляй, будто маленькая речка несется.

– Гм, пропади все пропадом, придется переправляться!

Что Хансулу скажет? Не жаловаться ведь, что у нее жар и голова болит. Дойдя до грязной, мутной воды, они сложили вещи на кусты ажырыка, разулись, сняли сапоги. Пробудившиеся мальчишки с любопытством озирали овраг. Дау-апа ступила в воду первая, внук – на спине, коржун и сапоги – в руке.

– Бисмилля!

Ширина потока – пятнадцать шагов. Дау-апа уже дошла до середины потока. Хансулу, держа сапоги в одной руке, бочком-бочком вошла в муть. Ледяная вода до костей пронизывала. Галька на дне больно в ноги вонзалась. Хансулу стойчески переносила это испытание. Нахмурившись, сжав зубы, шла и шла. Вот и кончился поток. Ноги, когда она выбралась на суглинок берега, не чувствовали ничего, так стужей их свело. Сев на коржун, Хансулу насухо вытерла ноги и, обернув портянками, сунула в сапоги. Только тогда в тепле они ожили.

По эту сторону потока грязевого месива еще больше. Попробуй из него выберись да поднимись по склону сая – с детьми да с грузом! Дау-апе плевать на грязь, ругаясь, она упрямо лезла вверх. Придерживая внука, порой оскальзываясь, она тут же опиралась рукой о землю и вставала. И всякий раз сердито бранилась:

– О, чтоб ты провалилась!

Она была уже у края оврага и от всей души проклинала грязь.

Спотыкаясь, едва не падая, Хансулу решила поискать другой путь. Она приметилла свежую промоину, идущую вдоль течения реки и поворачивающую вверх. Стараясь наступать на пучки травы, она пыталась вскарабкаться по ней. На спине ребенок.

Дау-апа уже выбралась, громко окликала сверху:

– Детка, ты где?

Хансулу, бедняжка, к самой земле пригнулась: ноги, скользя по глинистому дну, ползли назад, и всё же она упрямо карабкалась вверх. Где-то и на четвереньках приходилось выбираться. Пот заливал глаза, едва дорогу различала, порой приходилось останавливаться от головокружения.

– Апа! Погляди! – воскликнул сидевший на спине Тугелхан.

Вдруг стая ворон выпорхнула из-за бугра и села на землю в сторонке.

– Что, сынок? – Хансулу вытерла рукавом мокрое лицо. Стояла, обессиленно покачиваясь на ногах.

– Вон! Вон! Гляди!

Хансулу посмотрела туда, куда сын показывал, – и похолодела: из-под глинистого бугорка, наваленного кое-как, торчали ноги, сразу несколько пар. Хансулу оцепенела. Ночной ливень смыл землю, вот и обнажились ноги. Ясно виднелись босые ступни, рядом тонкие детские и полные женские ноги, обнаженные по икры. Похоже, здесь захоронены умершие от голода люди. Хансула вдруг увидела маленькую детскую головку с выклеванными глазами...

– Умерли они, – сказал Тугелхан.

Только тогда и очнулась Хансулу. Ее прохватила дрожь, ноги отяжелели – не слушались. Поползла на четвереньках. Мокрая от пота, ни жива ни мертва, выбралась из оврага. В висках стучало. Душа, поди, на кончике носа, вот-вот плоть покинет...

Перед городом посреди тутовника виднелась мазанка. Старик в поярковой папахе выгонял пастись ягнят и козлят. Туркмен, по-видимому, – с плеч свисала бурка.

– Апа, голова разламывается, – не выдержала Хансулу, бледная, мокрая от пота.

Дау-апа пощупала лоб.

– Ойбу-уй, да ты горишь!..

Дау-апа, оставив ее с детьми и вещами, заторопилась к старику в папахе и бурке. Он, опершись на палку, застыл на лугу как изваяние возле своих ягнят. Еще через некоторое время старик в папахе, взяв в руки их поклажу, повел женщин с детьми к дому. Хансулу была в помутнении. Лишь бы нашлось помещение – сразу упала бы на пол.

Еще домик во дворе – поменьше. Это летняя кухня. Туда и повел их старик. Циновка на земляном полу, поверх нее дорожка положена. Старуха в красном платке дверь распахнула.

– Печку, может, растопить? – предложила Дау-апа.

– Хава, хава¹, растопить надо, – поддержал старик.

Растопили печь, пошло тепло. Дау-апа налила в таз горячую воду, поставила его перед Хансулу.

– Ставь ноги! – сказала.

Окунула Хансулу ноги в горячую воду, закрыла глаза. Ей казалось, что она видит сон. Тепло от ног разливалось по всему телу. Рядом о чем-то говорили, что-то она слышала, что-то – нет. Старик накрыл ее большой шубой. Хозяйка принесла в чашке растопленного бараньего сала. Дау-апа этим салом ноги Хансулу растерла до колен. Огултуч-аже, так хозяйку звали, еще и горячее молоко с маслом принесла и заставила выпить полное кесе. То ли от жара печи, то ли от горячего молока, Хансулу внезапно вся взмокла от пота.

– Ложись и не двигайся! – велела Дау-апа, укрывая ее сверху теплым одеялом. Поверх и одежду навалила. – Полежи пока что. А я Шамурата поищу.

Хансулу кивнула. Вещи Дау-апа оставила, а детей забрала с собой. У печи Хансулу лежит. Крохотная, как курятник, комнатка с низким потолком аккуратно глиной обмазана. Жарко в ней скоро стало. Хансулу пропотела насквозь. Огултуч-аже, появляясь, осведомлялась:

– Как себя чувствуешь, доченька?

Во дворе и Какабай-ата время от времени спрашивал у старухи, как состояние гости. Не всё она понимала на туркменском языке, но этого и не требовалось – она

¹ Возглас одобрения на туркменском языке.

душой угадывала доброту стариков. Не только молоко, не только печь помогли ей. Не менее целебным, чем молоко и печной жар, оказалось и сострадание хозяев, свет их милосердия.

Дау-апа вернулась лишь к вечеру.

– Э, детка, повезло нам! – забасила она с порога. Мужеподобной огромной старухе пришлось сильно согнуться, чтобы пройти в дверь. – Нашла я Шамурата. Базарные торгаши его знают, и дом где, и работа. Прямо с ребятишками и явилась к нему. Застала, слава те, господи!.. Сидел у себя на торе. Ты-то как тут?

Хансулу и про куриный бульон рассказала, которым ее старики потчевали, и про их добрые сердца. Дау-апа меж тем продолжала:

– Шамурат-то ловкий малый оказался. Расторопный. Сразу меня в ГПУ. Всех записали – и Пахраддина, и Сыргу, и Балкию, имя, возраст. Сообщат, сказали, коли найдут. Так, благодаря Шамурату, мы с этим делом, скажи, развязались. Потом Шамурат, представляешь, меня взялся пристраивать. В интырнат свой привел. Забхоз он там, говорят. Сироты в том интырнате живут, одни дети степных казахов. Посудомойкой предложил в столовой их быть, при еде, говорит, будешь. Он нам с внучком и угол в дровяном складе нашел, спасибо ему. Пусть, говорю, счастье тебе будет через деток твоих, пусть, говорю, добро, которое ты мне сделал, от бога тебе возвратится... Вот так, детка, и прокрутилась я до вечера, зато сколько дел! Повезло еще нам. Мертвцов в городе – не приведи господь! На улицах впрямь трупы...

– Мои не добрались, выходит, – Хансулу тоскливо уставилась на темный глиняный потолок дома.

– Э, что мы можем?..

Тягостная тишина нависла в тесном доме. Дау-апа тоже задумалась о судьбе Пахраддина и Сырги. Пригорюнились женщины. Снаружи раскудахтались куры. Мальчики, видно, резвились на дворе.

9

Немощное, съезжившееся тело лежало неподвижно под столетником. То была Сырга. Открыла она глаза, а рядом с ней сидит Пахраддин. Шевельнулась Сырга, застонала. Тоненькими, как ростки саксаула, пальчиками, вся дрожа, стала что-то нашаривать в воздухе. Что-то съедобное искала. Сколько уж дней ни крошки хлеба во рту... Сколько – Сырга уже не могла сказать. Она давно потеряла счет дням и ночам. Время тянулось, как смола, и было полно мук. Все ее надежды на Пахраддина. Не должна была она так страдать, пока жив Пахраддин и он рядом с ней. Как можно поверить в то, что хозяин ее очага, благодетель, знающий обо всем на свете, заплутал до такой степени, что всё кружит и кружит вокруг одного бархана? Тот Пахраддин, которого она знала, не должен был ни с того ни с сего потерять себя. Разве он – не прежний Пахраддин, которому люди поклонялись как вожаку, предводителю?! Что, что случилось? Почему он не может выбраться из тупика?

Сырга поглядела на широкие лопатки мужа, спиной он к ней сидел – поникший, в сорочке, некогда белой, в черной тюбетейке. В волосах, бороде прибавилось седины. О чем можно попытаться у него, когда он и так весь поникший и обессиленный?

– Сокол мой... – позвала Сырга, всё так же лежа.

Пахраддин не откликнулся. Его волосы и бороду трепал ветер, сорочка пузырилась на спине. Тихо, мошкару только слышно. Полдень, зной, от которого дыхание перехватывает. Вдалеке по пустыне прокатываются смерчи.

Потянулась Сырга худой, обессиленной рукой к спине мужа, коснулась ее.

– Заблудились... Да?

Не ответил Пахраддин, лишь лицо избородилось морщинами. На далекий горизонт смотрел. С их бархана полмира видать. Полмира – это жаркая пустыня, маревом обволакиваемая, и ни души, будто всё кругом вымерло.

– Небо сегодня ясное, к ночи по звездам пойдём, – сказал он через некоторое время, не оборачиваясь, желая утешить жену.

По звездам так по звездам. В голосе мужа скользнула надежда, и она пробудила угаснувшую было веру. Не было еще случая, чтобы Сырга усомнилась в его словах. Сказал Пахраддин, пойдём по звездам, значит, пойдут по звездам. Может, и дойдут. Может, не всё еще потеряно...

А Пахраддин, как замороженный, следил за смерчем, завихрившимся свечой в самом центре пустыни; вот он уже и в сторону отклоняется. Ой-хо-ой, в душу словно яд проникал... Тоскливо вздыхал Пахраддин: жизнь подобна пустынно-му смерчу. О, обманчивый, призрачный мир! Жизнь была подарена ему. Словно сон, прошла она и растаяла. Словно вчера была. Да, будто вчера всё было: вот он мальчишкой на стригунка необъезженного впервые садится, вот он, джигит, коня норовистого седлает, вот аулы ночами объезжает, где красивые девушки. Всё это словно вчера было. Потом повзрослел, ума набрался, о нуждах людских стал думать. Боролся за справедливость. В тяжбах стал участвовать, бием прозвали за мудрость. Ни славы, ни чинов он не искал. Единения искал – для народа. Э-э, были же такие времена. Была жизнь, кочевая жизнь степняка с ее неизменной войлочной юртой; эта жизнь ушла. Всё кануло куда-то. Из многих слов лепилась одна мысль: достигнув шестидесяти лет, убеленный сединами, Пахраддин не думал, что закончит жизнь, подавленный костлявой рукой голода. Не думал, что его тело останется без погребения и станет пищей для стервятников и воронья. О Создатель, за какие такие грехи он обречен на собачью смерть? На худой конец хотя бы перед смертью дал бы ему бог понять причину такого несчастья. За что-о?!

Горчайшие мысли терзали Пахраддина, чья душа балансировала на грани жизни и смерти. Временами он поднимал голову, усталым взглядом обозревал изнывающую под солнцем безлюдную пустыню. Путника он искал, проходящего, и не находил. Сплошной частокол рана сменялся полынными разливами, бескрайне зелеными; вдалеке поочередно барханы выплывали с бело-кипенным ковылем. Взгляд его соскользнул с этого простора и устремился на восток. И нашел пологий холм, утопающий в мареве, похожем на голубое озеро. И вдруг на этом длинном, прогибающемся спиной холме, о Создатель, – верить или не верить глазам? – он увидел юрту. Обыкновенную казахскую юрту, круглую, с куполом. Маревом скрывало ее наполовину, но она, юрта, большая, белая, с куполом, там была!

Напряг Пахраддин зрение. Нет! Никакой ошибки! Астафиралла, стоит юрта! Кто поставил эту юрту с белым куполом?

Забило-зачастило сердце.

– Байбише! – позвал он, не в силах скрыть радости.

– Ау! – откликнулась Сырга, не открывая глаз.

– Байбише, юрта вон!

– Что? – Сырга открыла глаза. Насилу открыла.

– Вон юрта! О боже! Наша юрта!

Сырга тихо повернула голову.

Пахраддин и на ноги уже поднялся, стоял-покачивался на месте. Тянул, как безумный, руку вперед, глаз от горизонта не отрывал.

Шаг сделал, другой. Приостановился.

– Вон, на гребне, видишь? Наша юрта...

– Где?

Сырга, поднеся ладонь к глазам, вгляделась в длинный увал. Не увидела ничего. Весь мир струился в голубом мареве. Горизонт плавился, таял... Выпрямившись Пахраддин закачался на месте. Попробовал сделать еще шаг. Как ватные ноги, неживые.

– Где юрта? – прошептала Сырга.

Не услышал ее Пахраддин. Ветер пузырил на его спине рубаху, он шел босиком. Он шагал, как слепой, вытянув вперед руки, словно за воздух хватался, и шаг у него был неверный. Сырге в эту минуту он показался большим ребенком, который только-только по земле научился ходить.

– Бог мой, упадет ведь...

Трепещет душа Сырги. Но не падал Пахраддин. Молил духов предков:

– О Барак-ата! О Бекет-ата! Помогите... Поддержите...

Все оставшиеся силы собрал Пахраддин, чтобы не упасть и спуститься с песчаного склона в низину. Колени, проклятые, не держали. Под весом собственного тела он вынужденно клонился то вправо, то влево. Однако Пахраддин, пока жив, не сдастся. Хоть и упадет – не отступит назад. Он должен дойти до юрты, последней его надежды, последнего света, мерцающего в его глазах. Дойдет и скажет, что там, на бархане, Сырга, что надо ей помочь. Скажет и умрет. Спасет Сыргу – и умрет.

Падь, в которую он спустился, изобиловала растительностью – степной акацией, столетником, ковылем. На глади песка – вязь, оставленная жуками и ящерицами, там же и отпечатки босых ног Пахраддина. Тягостную, веками настоящую тишину пустыни нарушало лишь биение сердца Пахраддина и его надсадное дыхание. Сможет ли он на таких ногах поднять непосильный вес тела из этой впадины? Пот заливал глаза, всё перед глазами темнело. Это, наверное, от голода. В голове туман, сознание странно отрешено, словно всё во сне происходит. Во рту сухо, язык распух. Но неведомая сила влечет вперед, заставляя забывать про все эти муки.

У края пади он опустился на колени и на четвереньках вскарабкался-таки на гребень. Выпрямившись, вытер рукой лившийся в глаза пот, взгляд лихорадочно искал скрытую маревом белую юрту. Маревое, голубое-голубое, зыбкое, как озеро вдали, было вокруг, а юрты... юрты не было. Пропала бесследно. Будто земля ее проглотила. Астафиралла, привиделась, что ли?.. Не-е-ет! Не поверил глазам Пахраддин. Еще шаг... Другой... на ногах еле держится... На бугор поднялся, вгляделся. О Создатель! Неужто он разума лишился в ясный день? Где юрта? Где эта белая юрта?!

Жаркая сушь лежала безмолвная, как и его грядущая судьба. Жестокая судьба. Миражом обманулся, выходит, Пахраддин. Маревое подвело. Сам обманулся и Сыргу, бедняжку, в заблуждение ввел. О безумец!..

Обернулся Пахраддин, поглядел назад. Жены на бархане под кустом столетника он не увидел. А ведь, кажется, подняв голову, она высматривала его. Видать, опять легла. Черно стало в глазах, закружилась голова, покачнулся Пахраддин. Что было дальше, не помнил, сколько времени пролетело – не знал.

Очнувшись, открыл глаза, отметил, что зной заметно спал, тени от кустарников удлинились. Лицо горело. Оказывается, упал на муравейник, искусали, твари, не

пожалели. Губы вспухли. Пахраддин собрался с мыслями, сел. Нутро горело не меньше, чем лицо, хотелось пить. Жажда мучила сильнее, чем голод. Глаза на зелени сосредоточились. За кустами агавы, посреди рана и солодки он увидел лук. Росток дикого лука. Один-единственный. Подняться бы да сорвать, да куда уж ему? И пытаться не стал. Пополз к тому единственному росточку на четвереньках. Глаз от него не отрывает. Бойтся, как бы и он видением не оказался. Нет, не был росток видением, рука дотянулась до него. Не вытерпел, не стал срывать, – упал на него, сжевал на корню. О Создатель! Горький сок лука показался ему вкусом самой жизни. Пахраддин пополз дальше, траву жадно обзирал. Еще, еще ему хочется луку. Голодные глаза искали лук. Так, на четвереньках, он дополз до акации, щедро развисяшей сережками. Под ней на площади, равной той, что занимает обычно юрта, он – о боже, велико же твое могущество! – обнаружил рядом с зарослями густого рана и ростки лука. Много его тут было – глаза разбежались. Щедр же Создатель, когда захочет воздать! Приложился к луку Пахраддин, не оторвать. На четвереньках передвигался, зубами зелень состригал, жевал. Забыл обо всем на свете. Одного жаждал – лука, терпкого, исходящего соком. Рвать его, грызть, глотать еще и еще... «Скосил», считай, весь луг.

Когда пришел в себя, увидел, что ел-то он не лук, а ран, траву, которую скотина ест. Выходит, пасся он, как последнее животное...

Рот был полон кисловатой травы, сплюнул ее. Бессильно уронил голову, слезы крупными каплями на песок покатались. Чем он прогневил бога, что жалко для него достойной человека смерти? Чем? Че-ем?! Почему он, именно он, как последний пес, должен издыхать здесь на радость ползающим червям и муравьям?!

– О мир! Ты нем! Ты жесток! Ты предательски изменчив, мир! То ликом оборачиваешься, то задом. Почетные куски с дастархана жизни ты псам бросил, подобным Бухабаю и Курену... Науськал их и на меня. Мало того, им же на растерзание народ отдал. Этого ты хотел?! Э-эх, натравил заевшихся кобелей. Разогнали бесноватые псы простой народ, по белу свету он воробьями разлетелся, разбрелся... Обнищал, себя потерял. Этого ты хотел, лицемерный мир?! Что ж ты молчишь? Насытился твой зоб? Сыт? О время, бесово время! За всё еще с тебя спросят, за капельку воды, зря пролитую, спросят! Кровь людская тебя не отпустит! Слезы малых детей не отпустят! Понесешь еще ответ! Ни одно твое преступление не останется без спроса, ни одно, ты слышишь? За всё будет спрос! За всё-ё! За всё!!! – прохрипел Пахраддин и упал. Ничком, лицом в землю уткнулся. Хотел он прокричать всё это, дабы услышало его чаяние пусть даже пустынное Ие¹, однако из пересохшего горла вырвалось только шипение.

Долго он провалялся без сознания, а потом, когда очнулся, стал мало-помалу приходить в себя. Запах молодой травы почувствовал сперва. Хотел открыть глаза, да понял – вниз лицом лежит. Жажда мучила, нутро горело, язык будто приклеился к небу. Сорвал зубами травинку.

И словно донесся до него голос Лабак-ахуна.

– Разве не сбылось проричание мое? Горы с горами столкнутся, моря из берегов выйдут, огни займутся, один на Западе, другой – на Востоке. Иса² с небес спустится, Мади³ из-под земли выйдет. Миг высшего откровения на-

¹ Ие – дух пространства.

² Иса – Иисус Христос.

³ Шиитский мессия Последнего срока.

ступит... лик божий откроется народу. Суд великий над человеком свершится в присутствии господнем... Говорил я про это, брат мой? Говорил? Так вот, этот день настал. Дожили мы до него. Наше желание удовлетворено. Своими глазами Конец увидели... Но тебе, я вижу, жаль с грешным миром расставаться. Зеленую траву жуешь. Жаждешь жить? Одумайся, одолей желания. Смирись и сомкни глаза, и увидишь перед собой свет – врата иного мира. Вознесешься над бранным, обманным миром в вечность... Потому я спешил к тебе. Дабы спастись от адского огня, я отверг все прелести бытия. Не мучай себя, подчини язык калиме¹. Проси, чтобы свет открылся тебе. Проси у господина вести, прощения...

Пахраддин, шевеля губами, стал читать молитву. Подумал – зря вспылал, зря Всевышнего за грехи людские корил. Теперь он молил Спасителя о прощении.

С великим трудом приподнял грудь Пахраддин. Болели плечи. Собрав последние силы, сел. Голова кружилась. Небо кренилось. Земля качалась, плыла в сторону. Не стал вытирать рот, испачканный песком.

– Ахун-ага, а что стало с ушедшими людьми?

– Э, кто умер, а кто жив остался, брат мой...

– А с теми, кто на Устюрте остался?

– Э, пропади пропадом их дела... Молодежь развращена, на покой могил посягает, аруахов гневит. Мечети бездумно громит, гнев божий на себя навлекает. На народ твой голод обрушился, люди разбрелись кто куда, мышей в степи ловят... Нет бы молодым за грехи свои ответ держать, так через них на всех кара пала... Лютые времена наступили.

– Эх-хе-е, – сокрушенно вздохнул Пахраддин. Голову на грудь уронил. Опечаленный, он почти вдвое сложился. Забормотал себе под нос, говоря сам с собой: – Э-э-э... шуки выше деревьев поплыли²... воробьи в соколы подались, птенцы орла заклевали... вот-вот. Чего было ждать от народа, который Курен и Суржекей, Ждахай и Козбагар возглавили?.. Вырождается народ без достойного правителя... Вырождаются мужчины без достойных товарищей. Зло пустило глубокие корни. О Создатель, чем видеть это, почему мне не стать прахом?.. Иль, о боже, довел меня до такого дня, чтобы вдвойне страдал? Иль не раз, а два раза хочешь провести меня через смерть?.. Живым еще в адовом огне палишь? И смерти, значит, для меня жалко? А того, что Пахраддин шестьдесят лет на адовом огне жарился, мало? Шестьдесят лет с дьяволами и оборотнями в облике человеческого невежества и зла боролся... мало? Ты бы, о боже, меня забирая из бранныго мира, хоть конец бы мне не омрачал...

Еще через какое-то время Пахраддин осознал, что ползет куда-то, что-то бормочет. Приостановился – помутнение в голове, забыл, куда ползет. Вдруг вспомнил Пахраддин, куда ползет. Сырга ведь там, на бархане, пока живой, ползет к ней, добраться к ней надо.

Есть такая пора в пустыне, когда солнце садится и тени вокруг начинают сливаться в одну сплошную тьму. Пахраддин полз на бархан. Две луковинки у него в кармане. Попытался мыслями на Сырге сосредоточиться. Может быть... может быть... она умерла? А он... он... не был с ней перед кончиной!.. Собачья участь, собачья судьба...

¹ Калима – главная молитва в исламе.

² Зачин из поэзии акынов-жырау о признаках Последнего срока.

Солнце почти опустилось, широким веером красных лучей обогрело весь мир. Приложив невероятные усилия, вскарабкался он на бархан. Сырга на спине лежала. Под столетником. Не шелохнется. Малиновое шелковое платье на ней, ее любимое, голова и шея повязаны жаулыком.

– Сырга! – окликнул он, беря за тонкую, высохшую кисть жены.

Жива Сырга, дрогнули ресницы. Открыла глаза, печаль, невыразимая печаль тонула в ее угасающих зрачках. Взгляд усталый, безжизненный, скользнул по лицу Пахраддина, пополз вниз. На кармане остановился. Вложил ей в руку луковинки, обе. Поддержал голову. Не осталось веса в Сырге. Как перекасти-поле легка.

Держит лук тонкими, немощными пальчиками, а ко рту поднести не может. Пахраддин сам затолкал ей луковинку в рот. Не спеша, тихо постанывая, начала жевать Сырга. Двое опечаленных, двое обездоленных тонули в ночи на безвестном бархане в безводной пустыне...

Иссиня-черное небо с серебряными звездами, раскинув широко крыла, спускалось на степную солончаковую ширь, отдохавшую от дневного зноя. Потемнел прищур далекого горизонта, затуманились низины, скопились в оврагах тени. Великая, подавляющая дух тишина окутала вселенную. Вместе с тьмой расплзался по окрестности, охватывая ее, безотчетный страх. Как волк, осторожно, без единого шороха, хоронясь за кустами, скрадывая, ближе и ближе подбирался он к двоим.

Совсем рядом, за спиной, нарушая ноющую в ушах первозданную тишину, жалобно застонал козодой. Сырга, покоившаяся на коленях Пахраддина, вздрогнула. И Пахраддин ощутил, как холод пробежал по спине. Сырга, собравшаяся в комочек, как зайчонок, что-то ему шепнула. Прислушался он, склонившись.

Еще ниже склонился. Сырга с усилием подняла веки. Издалека смотрела уже, из далекого далека. Словно из другого мира. Глазами, похоже, силилась сказать то, что было на душе, но что не в состоянии была выразить словами. Мучалась, понимая, что это ей не удастся. Как знать, прощалась, наверное... С намернувшимися на глаза слезами Пахраддин неотрывно всматривался в сильно осунувшееся удлиненное лицо жены. И Сырга обрывающейся нитью взгляда молила о чем-то. Безмолвный, неотрывный взгляд. Не хотела она с ним расставаться. Он стал ласкать своими широкими ладонями усохшее лицо жены. Слеза вытекла из уголка ее глаза. Горячая капля обожгла руку Пахраддину.

Козодой голосил без устали – он сидел одиноко на ветке карликовой акации. Стенания маленькой птицы заполнили пустынное пространство, они усиливали ощущение страха. Они звали беду...

Обнявшись, лежали на бархане двое – он и она. Внизу, под ними, земля, сокрытая мраком; сверху – купол неба, прошитый звездами. Мир как большая юрта, купол которой слился с небом.

Ночная птица, захлопав крыльями, сорвалась с ветки, полетела неведомо куда...

1982–1985

*Подстрочный перевод Лины Космухамедовой
Литературная обработка Аслана Жаксылыкова
Редакция с сокращениями Владимира Карцева*

